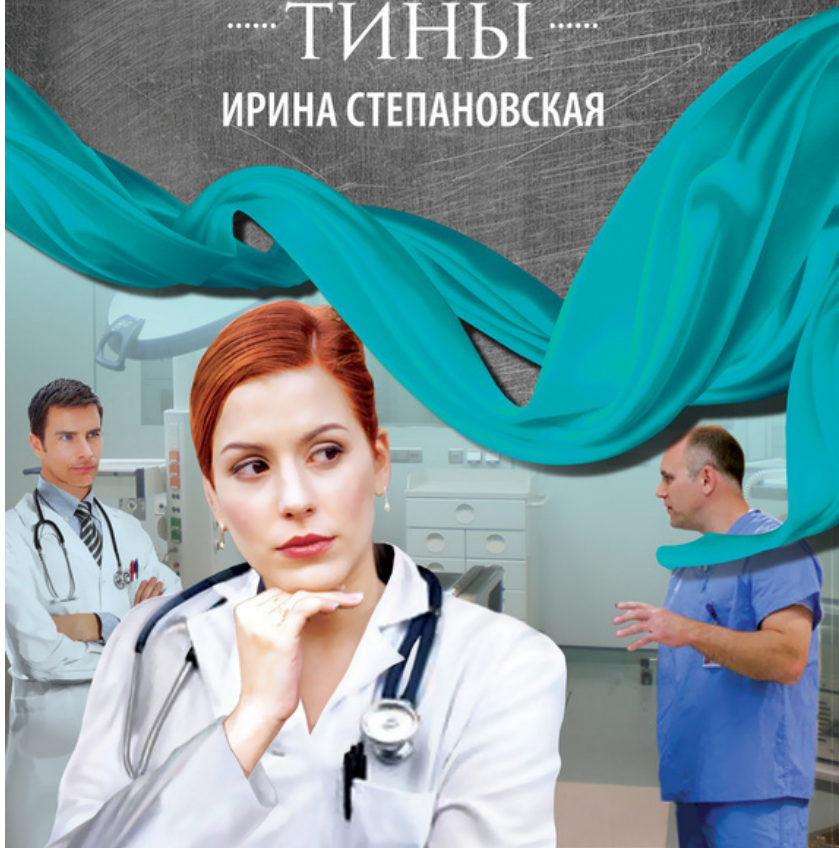


врачи+врачах

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ ОТ ДОКТОРАТИНЫ.....

ИРИНА СТЕПАНОВСКАЯ



Ирина Степановская
Рецепт счастья
от доктора Тины
Серия «Доктор Толмачёва», книга 4

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084285

*Степановская И. Рецепт счастья от доктора Тины: Эксмо; Москва;
2012*

ISBN 978-5-699-55331-0

Аннотация

Что знает больной о больнице? Палата, койка, лечащий врач. Но это лишь сцена. А за кулисами – ординаторская, операционная, патологоанатомическое отделение. Вот там-то и разыгрываются самые интересные представления.

Сразу трое мужчин окружают на больничной сцене Тину Толмачёву: старый друг Аркадий Барашков, эпатажный остроумец Михаил Борисович Ризкин и бывший коллега Ашот Оганесян, приехавший наконец из Америки. Но есть и еще один – тот, кто украшает чужую внешность, но прячет от людей свою душу.

Как обрести доктору Толмачёвой рецепт собственного счастья?

Содержание

1	4
2	10
3	17
4	22
5	35
6	41
7	52
8	71
9	78
10	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Ирина Степановская

Рецепт счастья

от доктора Тины

Пациент на приеме у врача:

– Скажите, вам помогло лекарство, что я вам выписал в прошлый раз?

– Большое спасибо, доктор! Очень помогло. Мой дядя вынул его по ошибке и оставил меня единственным наследником.

1

Самолет летел в ночи на восток, навстречу солнцу. Когда он сделал разворот и пошел вниз, те, кто не спал, отметили, что чуть натужнее загудели двигатели. По-видимому, они все еще летели над морем, и не было ни единого светлого пятна за бортом, кроме тех, что горели на крыльях лайнера. Они спустились еще ниже. И вдруг – сгусток света в темноте, будто спутался и переплелся внизу клубок проводов с горящими лампочками.

– Мама, там корабль! – на весь салон закричал вдруг по-русски мальчик, похожий не то на испанца, не то на грузина. Из всех сил он стал тормозить мать за плечо – непосред-

ственный, непременно желающий, чтобы мать тоже увидела это чудо – внизу в полной темноте светился огнями огромный океанский лайнер.

– Ну ладно, Вася, отстань, дай поспать, – сонно пробормотала мать. Мальчик был хорошо виден с места Ашота – они с матерью сидели наискосок от него, по другую сторону прохода. И поскольку ни Вася, ни сам Ашот, в отличие от других пассажиров, не спали, они заговорщицки временами перемигивались.

– Смотрите, вы видите? – обернулся мальчик. Самолет в это время как раз сделал крен в нужную сторону, и Ашот в незашторенный противоположный иллюминатор действительно увидел идущий под самым крылом светящийся огнями корабль. Потом показались другие суда. Еще и еще, они были выстроены в колонну на рейде; дальше появились целые острова огней – это был уже город. Под крылом стало светлее, потом по огням стали различимы параллельные линии автомобильных дорог, и Ашот понял, что они миновали прибрежную полосу и летят уже над землей. Тут самолет выровнялся, раздался толчок – это с той и другой стороны вышло шасси. Ашот поднял вверх большой палец руки, показывая мальчику, что он видел всю красоту и что вообще они уже скоро приземлятся. Вдруг погас верхний свет, остались гореть только лампочки над сиденьями, и захотелось сглотнуть.

Стюардесса пролепетала свою тарабарщину на двух язы-

ках. Прошло еще несколько томительных минут, и наконец самолет коснулся колесами полосы и резво побежал, подпрыгивая, по телу земли, сообщая внезапно усилившимся гулом двигателей о своем успешном прибытии. Потом его двигатели снизили обороты, плоскости поглотили выпущенные на время посадки закрылки, и лайнер, горделиво покачиваясь и демонстрируя себя и свою мощь, срулил с взлетно-посадочной полосы и остановился. Тягач подъехал к нему, пленил и отбуксировал к аэровокзалу. Но самолет при этом вовсе не выглядел как затравленное заарканенное животное. Сверкая серебристыми боками в свете аэропортовских огней, он красовался волнистым бело-сине-красным флагом на хвосте и темнел латиницей AEROFLOT AIRLINES на корпусе.

– Наш самолет совершил посадку... – дальше забурчало что-то неразборчивое. Названия аэропорта и столицы Исландии слились в какую-то плохо различимую чепуху, похожую на лягушачье кваканье в майскую ночь.

– Страна гейзеров и фьордов, – пробормотал Ашот. Он взял свою сумку через плечо и изготавился к выходу. «Сначала в дьюти-фри за подарками, а потом в бар. Но не наоборот!» – пригрозил он себе. Мальчик Вася с испанско-грузинской внешностью, стоящий в проходе впереди Ашота, в этот момент обернулся. Ашот улыбнулся ему.

Мать мальчика почему-то приняла на свой счет внимание к сыну, поправила прическу:

– Долго еще лететь до Москвы?

– Приблизительно четыре часа.

Но ее лицо, припухшее от нездорового сна, было неинтересно Ашоту. Он вдруг поразился другому – как легко, естественно и бездумно вылетают из него русские слова. «Говорить как дышать. Это важно». Он провел рукой по своим коротко теперь остриженным волосам и, несмотря на то что в аэропорту прибытия было плюс одиннадцать градусов, обмотал шею своим старым, еще московским, в красно-зеленую клетку, шарфом.

Пассажиров провели в здание аэропорта. В аквариумах сувенирных ларьков он затоварился пакетиками с косметикой для бывшей квартирной хозяйки – пышнотелой молодой дамы, обещавшей снова сдать ему комнату. Для Валентины Николаевны он купил флакон французских духов. Для Барашкова – прекрасную швейцарскую ручку. Времени оставалось в обрез, и хотя любезная продавщица не выражала никаких признаков нетерпения, нужно было торопиться. Он попросил показать переливающийся сиренево-голубым индийский платок и быстро купил его. Просто так, на всякий случай.

Теперь в бар. Их было множество, Ашот зашел в первый попавшийся. Там, к счастью, не было посетителей.

– Вод-ка? «Сто-лич-ная»? – предложил бармен, смешно коверкая язык, безошибочно угадывая в Ашоте «русского» пассажира.

– Водку пить буду дома, – сказал Ашот. И вновь поразился тому, как легко вырвалось у него это слово: «дома». И добавил по-английски: – А сейчас сок, пожалуйста. Апельсиновый. Из апельсинов.

– Неужели водку не будете? – вдруг на чистом русском спросил бармен. – Те, кто домой летит, всегда водку пьют.

Ашот посмотрел на него, хмыкнул:

– Коньяк буду. «Meukow».

Бармен хотел подмигнуть, но поостерегся. Подал сок и коньяк. Сок оказался терпким, не сладким. Ашот сел за стойку, достал таблетку снотворного. Бармен покосился в его сторону. Ашот положил на язык таблетку, запил соком. Посидел немного и выпил коньяк. Он хотел заснуть в самолете, чтобы незаметно покрыть те оставшиеся часы, что отделяли его от зыбкого понятия «дом». Ашот давно уже не хотел задумываться о том, что именно он вкладывает в это понятие – одноэтажное приземистое строение из белого камня с маленьким садиком на городской окраине у Каспийского моря или комнату в общежитии на улице Академика Волгина, где он с удовольствием прожил шесть быстро пролетевших лет учебы в Москве. А может быть, комнатку в коммуналке на Сухаревке, которую как раз и снимал у пышнотелой дамы, время от времени кидавшей в его сторону призывные взгляды? Или все-таки то самое отделение реанимации, в котором проработал после окончания института вместе с Валентиной Николаевной и Барашковым целых семь лет... Зачем об этом

задумываться? «Дом» существовал в его памяти, как много-
ликое божество – он мог быть одновременно и тем, и дру-
гим, и третьим... Вот только то место, где он жил в Америке,
язык не поворачивался называть «домом».

Мальчик Вася, увидев, что вернувшийся на свое место дя-
дя подкладывает под шею надувную подушку и изготавли-
вается ко сну, с негодованием отвернулся. Укоризненно по-
смотрела на Ашота и мама мальчика. Однако толстое обру-
чальное кольцо на ее пальце дало повод Ашоту сделать из-
виняющееся выражение лица и закрыть глаза. Он устроил-
ся поудобнее и мгновенно заснул. А мальчик, бессознатель-
но встревоженный непонятной его детскому телу сменой ча-
совых поясов и не употребляющий пока ни снотворное, ни
крепкие напитки, остался по сравнению с ним в невыгодном
положении: он так и не заснул почти до самой Москвы. И
только перед посадкой его, как назло, сморил беспокойный
тяжелый сон, и рассвет над столицей не поразил его своей
красотой. Зато сейчас, на взлете, мальчик снова увидел вни-
зу чужую гавань, и суда на рейде, и лунную дорогу на во-
де. Только исчезло уже волнующее видение того прекрасного,
сияющего огнями корабля, которым они с Ашотом любо-
вались при посадке. Мальчик повернул голову – все вокруг
спали, и не с кем было ему разделить красоту мира. Тогда,
может быть впервые в жизни, у него возникло чувство, что
все его предали.

2

Как всегда, по средам к девяти часам утра узкий и длинный больничный конференц-зал самой обычной городской больницы заполнялся врачами. Первыми на еженедельную конференцию, как правило, собирались терапевты из всех трех больничных терапевтических отделений. По утрам у терапевтов не бывает особой запарки. На «Скорой» пересменка в восемь, поэтому больных в приемный покой подвозят, как правило, часам к десяти. А всех, кому судьбой было начертано «заплохеть» этой ночью в отделениях, уже к утру успевают спасти, поэтому терапевты по достоинству занимают первые – почетные и чистенькие ряды в конференц-зале. Потом к ним подтягиваются так называемые «узкие» специалисты – все сплошь оканчивающиеся на «логи»: неврологи, урологи, отоларингологи и офтальмологи. Позже в зале появляются «урги». У хирургов по утрам всегда находятся неотложные дела – кого-то пораньше перевязать до операции, а кого-то еще не успели прооперировать с ночи, в общем, работа у них «поважнее этих дурацких конференций», как говорят они между собой. Поэтому «урги» входят в конференц-зал громко, с шумом подвигая скамьи с тройными сиденьями, садятся вместе, в любое время года демонстрируют обнаженные по локти руки и сдвигают на макушки высокие накрахмаленные колпаки.

Совершенно особняком появляется в зале единственный в больнице «ом» – патологоанатом Михаил Борисович Ризкин, он же и заведующий патологоанатомическим отделением. Михаил Борисович обычно садится в последнем ряду на место, крайнее к центральному проходу. И когда нужно сделать доклад, идет к трибуне упругой танцующей походкой бывшего боксера легкого веса. К его насмешливой улыбке, небольшому росту, сломанному носу и зеленым крапчатым глазам очень подходит галстук бабочкой, который Михаил Борисович носит всегда, даже летом, даже с рубашкой с короткими рукавами и даже с медицинским халатом.

А на последних двух конференциях пред очами ученой публики материализовывалась еще и внушительная фигура рыжеволосого веснушчатого здоровяка с лицом и фигурой греческого бога – это Аркадий Петрович Барашков, анестезиолог-реаниматолог. Он вальяжно садился, закинув ногу на ногу, в последнем ряду высокого собрания, по другую сторону прохода от Михаила Борисовича Ризкина. Кое-кто из докторов его помнит по прежней работе в отделении реанимации у бывшей заведующей – Валентины Николаевны Толмачёвой. Больше двух лет уже не существует это отделение, но некоторые доктора до сих пор вспоминают о нем с сожалением.

– Аркадий Петрович, вы никак вернулись назад, снова к нам, смертным? – Это Михаил Борисович намекает Барашкову на промежуточный этап в его трудовом стаже – двухго-

личное пребывание в коммерческом отделении «Анелия»¹ – все на базе прежней реанимации в этой же больнице.

– Неужели соскучились по авгиевым конюшням?

– Да я, дорогой коллега, работы настоящей никогда не боялся. – Доктор Барашков теперь был приписан к одной из хирургий, хотя больных принимал к себе в палату реанимации из всех больничных отделений. Благо только с улицы по «Скорой» ему не везли.

– Смотрите, не пожалейте. В нашей больнице работы по-прежнему для всех хватает. Запариться можно. И патологоанатомам, и реаниматологам, – Михаил Борисович шутя сделал ударение в последнем слове на «логам». Подвинулся к Барашкову, усевшись на соседнее кресло.

Аркадий Петрович только хмыкнул. Вот он уж точно был окончательно и бесповоротно «логом». Не только по названию – по духу: суффикс «лог» ведь означает «учение, наука». Опыт, конечно, со счетов сбрасывать нельзя, но и через почти двадцать лет работы Аркадий Петрович не гнушался заглядывать в медицинские книжки.

– Да и деньги здесь у нас, конечно, другие. Не то что у вас были в «Анелии»... – покачивал головой Михаил Борисович.

– Деньги были другие, а работать – тоска.

– Да вас там и работало-то всего три человека.

¹ О работе Барашкова в «Анелии» можно прочитать в романе Ирины Степановской «Реанимация чувств». М.: Эксмо, 2011.

– Не три.

– А сколько? – удивился Ризкин.

– Два с половиной.

– Это как? Я не про ставки говорю, про людей.

– И я про людей.

Главный врач с высоты президиума угрюмо наблюдал, как Ризкин о чем-то разговаривает с Барашковым. «Вот еще тоже деятель, – с раздражением он в который уже раз разглядывал фасонистый галстук-бабочку патологоанатома. – Сегодня он в бордовом. Каждый день их, что ли, меняет? Вчера, мне кажется, видел я его в синем в мелкую крапинку, а позавчера – в зеленом...» Главный врач поморщился, и докладывающий доктор запнулся и вопросительно посмотрел в его сторону, приняв гримасу начальника на свой счет.

– Я могу продолжать? – негромко спросил он.

– Да продолжай уж, да и заканчивай наконец, – хмуро буркнул в сторону трибуны главный врач. А сам подумал: «Если вон у нашей звезды отечественной патанатомии не будет к тебе никаких вопросов, то я-то уж тем более вылезать не стану... – Главный врач недолюбливал Михаила Борисовича. – Устраивает вечно на конференциях свои заумные шоу. Нет чтобы у меня спросить, а не повредит ли его наука больничному отчету? Легко быть всегда самым умным, а ты вот попробуй, повертись, чтобы и науку соблюсти, и смертность чтобы была, не дай бог, не выше, чем по городу. Я, может быть, тоже рад бы наукой заниматься, да высокая

смертность это тебе и лишение бюджетных денег, и премий, и пальцем на тебя показывают на всех совещаниях...»

– Так кто же у вас в «Анелии» был половинкой? – Ризкин наклонился к самому плечу Аркадия Петровича и снизу вверх заглянул ему в лицо. Барашков повернулся к нему и мысленно отшатнулся: бесовский огонь так и искрил, так и перескакивал с одной серо-коричневой крапинки на другую в насмешливых, умных глазах Михаила Борисовича.

Главный врач не выдержал, авторучкой постучал по столу:

– Я попрошу уважения к коллегам! Сохраняйте тишину в задних рядах!

– Молчим, молчим! – Михаил Борисович приподнялся и картинно прижал указательный палец к губам, чтобы продемонстрировать лояльность к президиуму. Главный врач мрачно посмотрел на него и на Барашкова с высоты кафедры. «Наверное, и этого рыжего попрыгунчика я снова взял на работу напрасно. Никогда у него не было никакого уважения к начальству, – главный врач вздохнул. – Не взял бы, да деваться было некуда. Хорошего реаниматолога трудно найти. А оба заведующих – и первой, и второй хирургией все уши прожужжали, что для послеоперационных больных необходимо организовать реанимационную палату. Вроде наши больничные анестезиологи слишком молоды и неопытны – не справляются с тяжелыми больными...»

– Так вы не ответили насчет половинки, – дотронулся до локтя Барашкова Михаил Борисович.

Аркадий выставил вперед нижнюю губу, почесал затылок.

– Работал у нас один специалист. Владик Дорн. И я думаю, что он все-таки неполноценный человек. И уж тем более неполноценный врач. А только какая-то четвертушка от врача и половина от человека. Хотя на аппаратуре он работал хорошо. Да вы, наверное, не были с ним знакомы.

– Почему же не знаком? – Михаил Борисович глумливо ухмыльнулся. – Я Дорна знаю. Я его на работу к себе взял, когда ваша «Анелия» накрылась. Вот уже два дня к нему присматриваюсь. По-моему, неглупый парень. Больных, конечно, не любит, но патанатомией вдруг заинтересовался.

Барашков почувствовал, что Мишка-черт специально его на разговор о половинках вызвал, хотел узнать его мнение о Дорне. Неприятно, хотя сказал он о Владике правду. То, что на самом деле думал. Но все равно нехорошо получилось.

– В вашей профессии больных любить, по-моему, и не обязательно, – пробормотал он.

– Ошибаетесь, коллега. Мы ведь истину ищем не ради мертвых, ради живых. Которых, собственно, и любим согласно общим принципам гуманности и человеколюбия, – Михаил Борисович Барашкову крапчатым глазом подмигнул и, воспользовавшись паузой в окончании доклада, встал. – Пойду потихоньку. Не могу больше выносить эту еженедельную говорильню. После наших конференций я себя в своем кабинете чувствую, как в отделении для новорожденных – под колпаком – тихо, спокойно и никто над ухом не жуж-

жит. — Он издалека сделал извинительный поклон главному врачу и тихонько проскользнул вон из конференц-зала. Главный врач в его сторону укоризненно покачал головой, а Барашков посмотрел на затворившуюся за Ризкиным дверь с завистью.

На Валентину Николаевну в это утро в квартире обрушился целый шквал звонков – ровно два. Что ж, для нее теперь и это было много. Были недели – вообще ни одного. Полное одиночество, не считая зверей – сенбернара да мышонка. Сегодня вдруг спозаранку позвонил отец: не надо ли чего?

– Спасибо, папа, не надо. У меня все есть. Я ведь работаю.

– Опять газеты продаешь, Валечка?

Она вздохнула в ответ:

– Что же делать, раз на большее не способна.

– Не дури, дочка! – Голос у отца стал сердитым. – Ну, болела, ну, операция – все понятно. Но сколько можно дурака валять? Устраивайся на нормальную работу, ты же врач.

Она помолчала в трубку. Потом выдохнула: «Извини, папа, что-то с утра голова сильно болит» – и отключилась. Походила по комнате, повздыхала. Родителей можно понять, они правы. И пожилые они уже, их жалко. Конечно, они беспокоятся. Последние полгода особенно. Все теперь кивают на сестру Ленку. Какая молодец! Пятнадцать лет уже в инвалидном кресле, а не сдалась, не разнюнилась. Хотя поначалу ой как несладко ей пришлось – из молодой девчонки разом превратиться в неходячего инвалида. А выдержала, нашла себя. Фантастическо-детективные романы теперь пишет. Четвертый томик уж вышел. Тина взяла со стола

небольшую книжку. «Тайна марсианского дома». Откинула от себя. Интересно написано. Только дочитать до конца так и не смогла. Что это говорит в ней? Зависть? Нет. Она Ленку очень любит. Когда с сестрой это случилось, она ведь даже пошла в медицинский – чтобы знать, как сестре помочь и родителям. И помогала, было время. Теперь у Ленки все хорошо, насколько может быть хорошо в ее положении. Дай бог ей побольше денег, успеха и славы. И родителям она, Тина, благодарна. Но вот теперь получилось так, что из благополучной девочки с музыкальными способностями, хорошего врача, матери и жены, опоры семьи превратилась Тина черт знает в кого. В неустроенную разведенку, продавщицу газет в розницу, в переходе метро, с рук. Так получилось. У каждого своя жизнь. И если более или менее известно, как она начинается, то никогда невозможно заранее знать, чем закончится.

Тина поставила перед сенбернаром миску с едой: «Ешь, Сеня». Накрошила кусочки сыра мышонку: «Кушай, Ризкин». Назвала это имя и вдруг вспомнила Михаила Борисовича, его зеленоватые глаза, волосы ежиком – соль и перец. Почесала мышонку лобик. В который раз умилилась: точь в точь молодой Михаил Борисович. Галстука-бабочки только не хватает. Она задумалась: интересно, как он там поживает, ее старый знакомый? Она ведь его не видела со времени своей операции. И Аркадий теперь снова в больнице работает. Неделию назад звонил – сказал, все-таки приезжает Ашот

из Америки. Какого числа? Тина мысленно подсчитала. Батюшки, да это ведь сегодня! Она подошла к окну, взглянула на небо. Обычный серый московский цвет. Наверное, там, в высоте, небо сказочно голубое, такое, каким снилось ей в ее болезненных снах: она в самолете с кучей больных – не знает, что с ними делать. Тина с силой задернула штору. Она и сейчас не знает, что делать. Не во сне, наяву. Но не с больными, с собой. И такая тоска, такая боль пронзила грудь, что повеситься и то было бы легче, чем ее терпеть.

Почему предательство страшнее всего? Она вспомнила Иуду. Чем он хуже, чем обычный наемник, стреляющий из-за угла? Или стражник, колющий копьем? В чем, собственно, разница? И тот разит насмерть, и этот. Она подумала: разве дело в смерти? Нет, дело в разочаровании, в обманутых надеждах. Скажи больному, что он обречен – он завершит все свои жизненные дела и будет готовиться к уходу. Но если ты скажешь его родственникам, что больной должен, по идее, умереть, но есть надежда, что он поправится, выздоровеет и все будет хорошо, а больной все-таки умрет, несмотря на все надежды, – выходит, ты убьешь его дважды. Считается, в надежде – жизнь, «пока живу – надеюсь», но вместе с тем пессимисты правы – никогда нельзя надеяться на лучшее. Если оно не наступит, разочарование будет еще горче.

Сенбернар Сеня поел и лег у двери. Тина посмотрела на него и стала одеваться. «Сейчас пойдем...» Сеня поднял голову, снял поводок со специального крючка и положил его

рядом с собой на пол. Тина посмотрела на крючок. Его вбил Азарцев. Когда? Всего два месяца назад, после Нового года. Тогда Азарцев ее еще любил. ЛЮБИЛ? Да полно. Она просто надеялась на это. Бернард Шоу утверждал, что каждый настоящий врач должен уметь лгать. Причем не просто лгать, а лгать с чувством оптимизма. Оптимистическая ложь. Зачем она нужна, особенно себе, если в прозрении кроется величайшее несчастье?

Тина, уже одетая, прошла в кухню, взяла молоток, вернулась назад в коридор, подвинула Сеню и с размаху ударила по крюку. Он погнулся, но не отлетел. «Аккуратно вбил, – подумала про Азарцева. – Он все делал аккуратно. Только неаккуратно спал здесь, на полу, с этой красавицей прямо на ее шикарном пальто. Дверь позабыл закрыть на внутренний замок». Она сглотнула и подавилась слюной, закашлялась, захлебнулась. Побежала в ванную, там ее вырвало. Сеня мордой приотворил дверь, сидел, внимательно смотрел на нее. Сбоку рта у него повисла вязкая капля слюны. «Мне тоже надо ходить с открытым ртом, чтобы не захлебнуться». Она отдышалась, умылась. «Сейчас, Сеня». По дороге к двери снова взяла молоток. Грохнула так, что вместе с крючком отлетел еще и кусок штукатурки. Мышонок Ризкин пискнул и спрятался в клетку. Тина бросила молоток, открыла дверь и пропустила Сеню вперед: «Пойдем», и, заметив валяющийся на пороге сплюснутый, измятый крючок, пинком выкинула его из квартиры на лестничную площадку со странным

удовлетворением. На грохот открылась дверь в квартире напротив и тут же закрылась. Сеня стал спускаться вниз, она пошла за ним. Ей было так же плохо, и эпизод с крючком ничего не изменил. Она молчала, но если бы в это время кто-нибудь сказал ей что-нибудь обидное, она могла бы убить его, покалечить, потом убить себя, разрушить весь дом, взорвать целый мир. Но, к счастью, ей никто не встретился. Она вышла на улицу. Во влажное, еще снежное, хлюпающее под ногами вязкое мартовское московское утро. И в это самое время второй раз за день у нее зазвонил телефон – на этот раз в кармане.

Ашот в самолете спал. И снился ему не теплый Восток с его вечными традициями гостеприимства – с накрытыми во дворах столами, – не шашлыки и фрукты, не сладкое вино и не вражда и война, которые случились там, в городе его детства, уже после того, как он из него уехал. Не снился ему и наш слякотный Север с плохой погодой семь месяцев в году, от которой столичные жители прячутся в золоченом и людном метро. Тот самый наш Север, с которым Ашот уже давно сроднился: с его суматохой и склочностью, красавицами девчонками, усталыми женщинами средних лет, подвыпившими мужиками, грязными автомобилями на переполненных улицах, с толстяками-гаишниками в лимонных жилетах, роскошными ныне банками и преисполненными достоинства депутатами.

А приснился Ашоту пахнувший воздушной кукурузой, жареными сосисками и кофе Запад – небольшой американский городишко с довольно зачуханными улицами в центре, но с аккуратными частными домиками на окраине. С бензokolонками, кегельбаном, магазинчиками на каждом углу и голубыми бассейнами в каждом приличном дворе с непременным газоном. Тот самый городок, где ныне жила его семья – оба брата с женами и детьми, говорящими по-английски – ведь они родились уже тут, на этом жарком Западе.

И здесь же, будто нарочно сменяя поколения, один за другим, неожиданно-негаданно, без всяких видимых, казалось, на то причин, умерли один за другим его родители – сначала отец, а через несколько месяцев – мать. Он сам приехал сюда последним из семьи. И прожил здесь эти нескончаемые два года. И даже работал – получил лицензию на то, чтобы делать педикюр американским пенсионерам. Пытался говорить с ними по-английски – так, как учили в школе и на курсах, и убедился, что его никто не понимает. Выучил тот сленг, на котором разговаривали они. Иногда отвечал на вопросы этих старых американцев – о перестройке и все еще о Горбачеве. В ответ выслушивал нескончаемые рассказы о величии Америки и силе ее народа. Сдавал он и экзамены – сначала, чтобы взяли на работу кем-то вроде уборщика в больнице, потом социально дорос до санитара. Он стал известен соседям по улице словно Фигаро, который знает, как полечить больной зуб, что дать от прыщей, чем помазать ранку ребенку. Жаль ему было только, что никто из соседей, кроме полячки Ванды, приехавшей в Америку лет на десять раньше него, не знал, кто такой Фигаро и чем он знаменит.

Он уже собирался в самом скором времени получить диплом специалиста по прокалыванию ушей, и брат с сестрой советовали ему уйти из больницы и открыть свое дело, что-то вроде крохотного педикюрного кабинета, как вдруг Ашот объявил, что должен съездить в Москву.

– Что ты там забыл? – не понимали его родственники, а

он не мог им объяснить, зачем ему надо обязательно ехать. Но что-то неуловимое произошло в нем самом, от чего его стало тошнить и от маленького городка, который, объективно говоря, несмотря на всю его тошнотворность, по своему жизненному устройству все равно мог дать сто очков вперед какому-нибудь нашему районному центру, и от старых американцев в клетчатых рубашках, и от аккуратных газонов, и, самое главное, от работы санитара, педикюрщика и прокалывателя ушей.

– Что ты врешь, что ты ерунду мелешь! – восклицала и удивлялась «старшая женщина» их теперешней семьи, жена его старшего брата Сусанна. Она была прекрасной полной армянкой в самом соку, с луноликим лицом, с полукружиями ровных бровей, но в то же время было уже в ней и много американского – любовь к хлопчатобумажным брюкам вместо черных широких юбок, к кока-коле, к барбекю на лужайке, где вместо сочного барашка жарились толстые, глупые сосиски.

– Не слушайте его, он говорит вам неправду! – возмущалась она и негодуя взмахивала полными загорелыми руками. – Америка, видишь ли, ему не нравится. Да Америка, если хочешь знать, – это сталинизм с человеческим лицом! Какой везде порядок! Нам и не снилось. Пиво на улицах пить нельзя. Окурки кидать нельзя. Подросткам без паспорта и без сопровождения взрослых спиртное не продают. Детям курить не разрешают. Если кто кошку на улицу выки-

нул – штрафуют. Ты в машине остановился на улице – полицейский подъедет, спросит, что у тебя случилось. Проводит туда, куда надо, одолжит свой насос или что-то еще, вызовет эвакуатор, даст таблетку от сердца. Нет, мне в Америке очень нравится! Разве твой брат, мой муж, армянин, у нас в Баку, где мы прожили всю жизнь и откуда нас выгнали в двадцать четыре часа, мог бы иметь свою фирму и такой дом, как у нас здесь, в Америке? И, кстати, этот дом может быть и твоим домом, Ашотик, стоит тебе только захотеть жить с нами одной семьей.

– У тебя прекрасный дом, Сусочка, – отвечал Ашот, а все вокруг него молчали, не зная, как участвовать в этом споре. – Но мне в нем нечего делать. Ты живешь только этим домом, детьми, своим мужем. Ты здесь не работаешь, не ходишь в театр, не слушаешь оперу, а в Баку, между прочим, частенько ходила... Тебе даже на твоей просторной кухне здесь не о чем разговаривать с соседками. Политические новости здесь никто не обсуждает, в кино ходят только подростки, а местные сплетни тебе неизвестны, потому что с тобой здесь ими никто не делится.

– А спроси, спроси ты своего второго брата, – не унималась Сусанна, – что ему больше нравится? Преподавать философию в институте рыбного хозяйства, чем он занимался после окончания университета, или разъезжать по огромной стране в комфортабельном грузовике нашей фирмы, владельцем которой он тоже является? И ты бы мог так же рабо-

тать, если б захотел, если бы понял, что то, отчего ты ушел, все эти посиделки на кухнях, осталось там, на далеком Севере, а здесь к тебе грядет новая жизнь... — И Сусанна вскакивала, встряхивала браслетами и перемещалась туда, где ждал ее небольшой дворик, с аккуратным, подстриженным газоном, навстречу возвращавшимся из школы детям. (Учительница говорила, что они подают большие надежды. Они даже смогут получать стипендию в колледже!)

— Жаль, что ты не помнишь, Сусанночка, — кричал ей вслед в своем сне Ашот, — как наша мама говорила, что все отдаст, чтобы ее дети получили хорошее образование: старший стал бы инженером, средний — гуманитарием, а уж младший — врачом. И что она просто умерла бы со стыда, если бы узнала, что ее дети стали торговать на рынке луком или виноградом или даже водить грузовики с помидорами и зеленью. А колледж этот местный, — Ашот во сне даже пинал ногами воздух от возбуждения, что проявлялось наяву тем, что он сотрясал спинку сиденья впереди сидящего пассажира, — на самом деле прибежище для дебилов. Нечто среднее между ПТУ и педагогическим техникумом, где историю искусств учат попеременно с кулинарией и слесарным делом. Правда, изучают и то и другое на компьютерах! О, какие замечательные компьютеры стоят в этих прекрасных свободных классах! Но чтобы твоим детям, Сусочка, выучиться всерьез — на дипломата, летчика или врача, им придется пройти здесь через весь этот ад местных кол-

леджей с потерей нескольких лет, пока они доберутся до возможности поучиться где-нибудь повыше и подороже. А твой муж, мой брат, при всем желании не сможет обеспечить им легкое получение образования всей своей клубникой, собранной в Южной Америке. Так что ты, Сусанночка, может быть, вспомнишь еще те времена, когда ты сама, прямо из-за школьной парты, из школьной коричневой формы с фартуком и большим белым бантом в волосах выпрыгнула сразу в прекрасный Институт народного хозяйства. И получила там специальность не какого-то там недоучки повара-искусствоведа, кем будет через два с половиной года твоя дочь, а инженера-технолога, специалиста по изготовлению и хранению колбас и мясных деликатесов. И в том, Сусанночка, что по праздникам мы всей семьей ели вкусную копченую колбасу, сделанную под твоим руководством, тоже была своя прелесть! Забыла?

– Я помню, – сказала Сусанна. – Я все помню, вкусная была колбаса. Но только в Москве сейчас без денег тоже не пробыешься в прекрасный Институт народного хозяйства. А я, в принципе, если захочу, могу и здесь открыть небольшой цех по изготовлению домашних колбас. И это будет стоить, кстати, гораздо меньших хлопот, чем в Москве...

– Здесь тебе не дадут это сделать, потому что ты тогда составишь конкуренцию местному производителю, который гонит дешевые сардельки из куриной кожи и бумаги.

– Да ну тебя, Ашот, – махала на него Сусанна. – Все ты

критикуешь, все тебе здесь не нравится!

И этот разговор с Сусанной в Ашотовом сне был таким реальным, таким наболевшим, что он, как это часто бывает с людьми, сознающими, что они на самом деле спят и видят сны, не хотел просыпаться, не досмотрев его и не доведя до конца свой спор.

А это нужно было сделать – закончить, подвести итоги, оправдаться, в конце концов, почему он сейчас не трудится в поте лица в этом маленьком городишке на Западе, а летит в самолете на слякотный Север. «По делам», – как объяснил он по телефону Барашкову, а на самом деле просто так, побродить, погулять, повидать знакомых, убедиться, где же все-таки лучше – там или здесь, даже потратив на эту прихоть все заработанные за два года деньги. И съездить в Петербург, чтобы повидать все те места, которые так любила Надя. И этим как бы снова встретиться с ней.

– Между прочим, и мама, – говорил во сне Сусанне Ашот, – хоть и с удовольствием грелась на солнышке на террасе твоего американского дома, а вздыхала о прошлом, о своей небогатой молодости. И мне всегда было ясно, что не заменит ей этот аккуратный газон прежнего садика с помидорными грядками и старым шлангом, змеей тянущимся от кухонного окошка под наши абрикосовые деревья.

– На, успокойся, поешь! – протягивала ему на пластмассовом подносе гамбургер добрая Сусанна. На разрезанной пополам булочке лежали бледные листья салата, малиновые

кружочки салями, колесики перца и тепличный помидор из тех, что партиями возил на продажу брат. Рядом стояла бу- тылочка кока-колы.

– Я не голодный, – отвечал Ашот. – Был бы голоден, все бы съел. Не сердись, дорогая, но аппетита у меня тут нет. И, если говорить честно, эта салями – не колбаса!

– Ой, скажешь! – хмыкала Сусанна.

– А московские булочные, Сусанночка! – не унимался Ашот. – Из чего, интересно, делают здесь эти булочки, дорогая? Они не имеют ни вкуса, ни запаха.

– Из самой лучшей в мире аргентинской пшеницы, – ворчала Сусанна.

– Я хочу в Москву, Суса! Я скучаю по московской слякоти, кто бы мог подумать?

– Так зачем ты тогда ехал сюда? – Сусанна смотрела на него своими добрыми армянскими глазами, она не умела злиться всерьез.

– А там я скучал по всем вам! А теперь хочу назад, в тот холод и сырость. Я скучаю по своей больнице...

– Ужасной больнице, судя по твоим рассказам!

– Возможно, – легко отвечал Ашот. – Но я по ней скучаю. Скучаю по своему отделению. И, черт возьми, я – культурный человек и хочу сходить в театр и посмотреть какую-нибудь пьесу на понятном мне языке. Ну, почему вы не хотите вернуться назад в Москву? Детям там было бы лучше!

– В своем ли ты уме, Ашот? Где нам там жить? Как тво-

им братьям снова начинать бизнес? И потом, какая там медицина?

Ашот, легкий во сне, будто ангел, слетал, не касаясь ступеней, с веранды вниз, неся над свежей, только что вылезшей травой, подпрыгнув, повисал на соседском заборе. Светловолосая полячка Ванда в коротких бриджах, та самая, что закончила университет в Варшаве и знала не только, кто такой Фигаро, но и кто такой Бомарше, накрывала стол на своей веранде.

– Привет, Ванда!

– Привет.

– Ты скучаешь по Варшаве?

– Нет. Збигнев скучает. А мне здесь нравится. Хорошо! Тепло! Начало марта, а на улице – плюс двадцать. Прекрасно.

– В Варшаве сейчас жизнь не такая, как была раньше. Лучше!

– Ну что же! Дай бог полякам всего хорошего. А наша жизнь – такая есть. Не будешь же за счастьем бегать по всему свету.

– Может, ты и права, Ванда. Но я еду домой!

– Счастливо, Ашот! Привет Москве.

Сусанна тем временем ушла в дом и возилась на кухне. Ашот подлетел, встал на цыпочки, заглянул со двора в окно. На кухне работал вентилятор.

– Вот, видишь! Представляешь, какая сейчас там пого-

да? – сказала Сусанна, слышавшая разговор.

– Представляю! – Ашот протянул в окно руку и все-таки взял со стола гамбургер. Вытянул из него безвкусный листик салата и сжевал его медленно.

– Проголодался? – добродушно усмехнулась Сусанна.

– А в Москве сейчас делают такие же операции, как в Америке. – Ашот так же равнодушно сжевал и салями, и булочку.

– Это ты врешь, – заметила Суса. – Этого не может быть, потому что не может быть никогда.

– Все, дорогая! – Он знал, что ни к чему доводить ее до крайней точки кипения. – Не будем спорить. Спасибо тебе за твою доброту. Ухожу.

– Куда ты? – Сусанна, как все армянки, отличалась материнской заботливостью.

– На работу. Меня ждут ведро, швабра, пылесос и странное сооружение на колесах. Называется медицинская каталка. Я научился на ней передвигаться с бешеной скоростью.

– Ты рассказывал, что и в Москве возил больных на каталке, потому что не хватало санитаров.

– Совершенно верно, моя дорогая. Но в Москве я возил больных на каталке как врач-реаниматолог, а здесь как околomedicalское говно. Впрочем, я заметил, мои здешние коллеги очень даже гордятся такой должностью.

– А ты знаешь, что вчера в вашей больнице умер старый мексиканец, что держал справку на выезде из города? – Су-

санна рада была поделиться с ним местной новостью. – Его внучка учится вместе с нашим старшим сыном. Этот мексиканец был славный старик. Они всем классом хотят пойти в церковь на его отпевание.

Ашот огорчился:

– Я знал его. Не раз бывал в его забегаловке при бензоколонке. У него там продавали отличные пироги.

– Наверное, его хотят похоронить в Мексике, откуда он родом.

– Мама тоже, наверное, хотела бы, чтобы их с отцом похоронили в Баку.

– В чем ты меня обвиняешь? – Сусанна решительно встала перед ним во весь свой небольшой рост. – А ты знаешь, что в Баку уже не найдешь больше армянских могил?

– Ну, что ты, дорогая, я тебя не виню. Ты любила наших стариков и делала для них все, что могла. – Ашот поспешил закончить разговор.

Самолет летел уже над Восточной Европой, когда Ашоту еще снилось, что он зачем-то везет этого мертвого старика на специальной каталке в огромный ангар в степи, похожий на те, в которых стоят военные самолеты. Этот ангар, сделанный из металлических, обшитых пластиком широких полос, был поделен на множество отсеков, набитых медицинским оборудованием, и представлял собой муниципальную больницу, что-то вроде нашего межрайонного лечебного объединения. Он завез каталку в блок интенсивной терапии и за-

кричал:

– Надя!

К ним подлетела Надя, бесплотная, как и при жизни. Посмотрела на мексиканца и с расстояния определила: «Ему уже не поможешь».

– Мы должны помочь себе, – сказал Ашот и накрыл голову старика синтетической марлей. – Поедем со мной домой.

– Нет, не могу. Мой дом теперь здесь.

– Но ведь он пуст?

– Нет, не пуст. – Надя задумалась. – В нем живет любовь.

– Я обязательно поеду в Питер. Что-нибудь передать твоим родным?

– Вот, возьми. – Она достала из кармана медицинской пижамы фармакологический справочник на английском языке.

– Зачем он им нужен в Питере?

– А ты передай.

Он взял справочник в руки и увидел, что это не справочник вовсе, а томик стихов. Аккуратная книжка в обложке с золоченым теснением. «Поэзия Серебряного века». Он оторвал лоскут от простыни мексиканца и завернул в него томик. И уже после этого вдруг развалился в его сознании высокий ангар в жаркой степи, улетела куда-то Надя, а он сам вдруг очутился в московской больнице в их старой ординаторской на синем продавленном диване.

– Э-эй! Есть здесь кто-нибудь? – крикнул он и проснулся.

Самолет уже сел в Домодедове, и пассажиры выходили

из салона. Он встал и пошел за всеми. Мальчик Вася уже куда-то исчез вместе со своей мамой. И как-то внезапно и шумно навалился на него беспорядочный зал: очередь на паспортный контроль, сутолока встречающих, навязчивые предложения таксистов и частников. И когда, миновав это все, Ашот наконец вышел на улицу, его встретил мокрый блестящий асфальт и запахи города: смога, дождевых капель, тающего снега и жареных пирожков. Все те московские запахи, которые, как у Пруста, способны вернуть уж если не само утраченное время, так хотя бы попытки его поисков.

У Тины в кармане раздался телефонный звонок. Она шла с сенбернаром в ближайший сквер, осторожно обходя лужи. Сеня, тоже не любивший мочить лапы, просто переступал через них. Услышав звонок, он чуть повернул к Тине голову. Она мысленно сжалась, помедлила, доставая телефон. Еще не видя экран, но представляя на нем знакомые цифры, она одновременно и хотела, и не хотела, чтобы высветились именно они. И страшно ругала себя мысленно за желание их увидеть.

«Я не должна, я не могу ему отвечать. Чтобы он ни сказал мне, я не буду с ним говорить», – думала она, представляя, что высветился телефон Азарцева. Наконец, боясь этого и ожидая, она поднесла телефон поближе к глазам. «Барашков» – было написано на экране.

С огромным разочарованием она ответила:

– Да, Аркадий?

– Ты помнишь, что сегодня прилетает Ашот?

Она заставила себя улыбнуться:

– Помню, конечно. Ты поедешь его встречать?

– Нет, я даже не знаю рейса. Но приходи сегодня к нам. Я думаю, он прилетит и сразу захочет увидаться. Придешь?

Она подумала, что не пойти нельзя. И, конечно, она в самом деле хочет увидеть Ашота.

– Давай созвонимся.

– Договорились.

Она спрятала телефон назад. Они с Сене́й дошли до сквера, пошли по песчаным дорожкам. В воздухе дрожала мельчайшая водяная пыль. На серебристых почках кленов повисли тяжелые капли. На дороге от асфальта поднимался легкий пар.

«Весна, – подумала Тина. – Вот и дожили до весны». И сама эта мысль не принесла ей никакого облегчения. Она сняла с Сени поводок, и он трусцой побежал в сторонку под деревья. «Что он сделал со мной, этот негодяй Азарцев?» – думала она о себе с тем же равнодушием, с каким наблюдала начинающие набухать почки, мокрый пар под колесами машин и желто-белую спину Сени. «Я опять не хочу жить. Вернее, живу как автомат. Знаю, что надо кормить животных и есть самой, – и стараюсь есть. Знаю, что для этого надо работать, – и иду на работу. Но своим предательством он украл у меня надежду, а в ней заключалась радость моей жизни. Больше не в кого верить, не на что надеяться. Конечно, я еще живу – двигаюсь, сплю, ем, но зачем я это все делаю?»

Худая по весне ворона решила подразнить Сеню. Она садилась на нижние ветки деревьев и каркала, когда он проходил под ними. Сеня посмотрел на ворону с видом, что ему на нее наплевать. Тогда противная птица стала пикировать с веток чуть ли не ему на голову. Тина нашла на обочине камень, подняла, прицелилась и запустила в ворону. Конеч-

но, не попала. На ладони остался грязный мокрый след. Тина достала платок и вытерла руку. Сеня подошел к ней, посмотрел вопросительно.

– Гадкая ворона! – сказала ему Тина. Сеня понимающе мотнул головой и гавкнул. Какая-то женщина, идущая навстречу, шарахнулась от них в сторону.

– Намордник на собаку наденьте! – крикнула она, когда уже была от Тины на приличном расстоянии.

– На себя бы надела! – огрызнулась негромко Тина и подзвала Сеню: – Рядом иди. А то нас с тобой на живодерню заберут. – Сеня удивленно покосился на нее, услышав новое слово, но гавкать больше не стал. Тина прошла еще немного. Такая ярость, такая злость вдруг захлестнула ее с головы до ног, что она не выдержала, остановилась под деревом, изо всех сил шарахнула рукой по стволу:

– Будь же ты проклят, Азарцев! Будь ты проклят!

С ветвей на нее посыпались мокрые капли, попали на руки, на лицо, за шиворот. Это помогло. Она вытерлась все тем же носовым платком, взяла Сеню на поводок и повернула в сторону дома.

Когда она вошла в квартиру, ее трясло. Она расстегнула пуговицы, стряхнула с плеч пальто. Оно упало на пол посреди комнаты, как раз на то самое место, где в тот ужасный день у нее на глазах лежали на другом пальто – гораздо более шикарном – Азарцев и его прелестная любовница. Тина оглянулась. Лицо ее искривила судорога. Она рывком под-

няла свое пальто и швырнула на постель. Но и это ей не понравилось. Тогда она смяла кулаками и засунула его под одеяло, чтобы не видеть. И осталась сидеть на постели, обхватив голову, раскачиваясь из стороны в сторону. Как бы ей хотелось заплакать! Наверно, стало бы легче. Но ни плач, ни стон, ни вой не шли из ее груди. Она сжала зубы и встала. Достала пальто, нарочно медленно его встряхнула, прошлась по нему щеткой. Аккуратно повесила на плечики, аккуратно убрала в шкаф. Потом она вытащила пылесос, достала ведро и тряпку и снова, наверное в тысячный уже раз, пропылесосила и вымыла весь пол в комнате. Затем в коридоре. Взяла распылитель с ароматизатором воздуха, побрызгала вокруг. И все равно, все равно ей казалось, что в комнате присутствует въевшийся в стены, в ковер, в обивку запах Азарцева, тот самый запах, который с наслаждением и надеждой она вдыхала всего несколько недель назад.

«Возьми себя в руки! Здесь никого нет, кроме меня. И ничем не пахнет». Но где-то внутри, в области грудины, росла и ширилась, вгрызалась и не отпускала тоска. Она гнала Тину из угла в угол, не позволяла сосредоточиться, не давала одеться, позавтракать, собраться на работу. Вот Тина подошла к зеркалу, взяла в руки расческу. Чужое злое лицо с воспаленными глазами смотрело на нее. Тусклые светлые волосы спутанными прядями спускались к шее. Веснушки, выступившие опять на носу первыми признаками весны, слились на щеках темными пятнами, губы запеклись.

«Хороша...» – подумала Тина. И тут же вспомнила запрокинутое, сияющее удовольствием лицо молодой женщины, ее прекрасное обнаженное тело на полу, ее раскинутые руки и какой-то безумный восторг в глазах Азарцева, сменившийся непониманием и досадой в момент, когда он поднял от этого прекрасного тела свою голову и увидел в комнате ее, Тину.

– Господи, скажи, ну почему мне так всю жизнь не везет? – со всей силы она швырнула расческу в зеркало. Но что может сделать толстому стеклу пластмассовая расческа? «Даже не разбилось», – с отвращением подумала Тина. Сеня приотпал сзади, зубами поднял расческу и повернул к Тине голову. Она взяла расческу из его пасти, равнодушно скользнула рукой по его лбу. Потом, вдруг повинувшись внезапному импульсу, снова набрала телефон Барашкова:

– Вот что, Аркадий, давайте вечером встретимся у меня. Втроем, без твоей жены. Ты, я и Ашот. Так будет лучше. Свободнее.

– Ну, хорошо, – неуверенно сказал он. – Только Люда же знает, что он прилетает сегодня. Может обидеться.

– Свали все на меня. Мол, плохо себя чувствую и т. д.

– Так Люда приедет к тебе. Помочь.

Тина вздохнула:

– Ну, захочет приехать, пусть приезжает. Все равно. Только я хочу встретиться у меня.

– Ну, ладно.

– Договорились. – Она отключилась. «Запах двух мужиков перебьет твой запах, Азарцев!»

С видом военачальника, пускающегося в опасную, но жизненно необходимую военную операцию, Тина снова прошла по квартире. «К черту сегодня газеты! Схожу к парикмахеру, накрою прекрасный стол и напьюсь. И, может быть, снова затащу Барашкова в постель. Или Ашота, если Аркадий придет с женой, – подумала она с несвойственным ей раньше злорадством. – А то надоело смотреть, как все пребывают в шоколаде. Одна я пожизненно в дерьме». Она созвонилась со знакомой парикмахершей, снова достала пальто из шкафа и, мрачно взглянув на место на полу в центре комнаты, нарочно прошла по нему уже обутыми в сапоги ногами.

– Звери, я скоро вернусь! Сегодня у нас будут гости. – Она выгребла из ящика тумбочки всю наличность и вышла из квартиры.

– Насколько я понял, ты всю сознательную жизнь после окончания института занимался функциональной диагностикой, – сказал Михаил Борисович Ризкин, поворачиваясь от своего микроскопа к сидевшему за соседним столом новоиспеченному коллеге Владиду Дорну. Разговор их происходил в просторном и светлом кабинете заведующего патанатомией. Но сама обстановка в комнате Владиду не понравилась. Такое было впечатление, что это не кабинет, а квартира. Причем квартира старого холостяка – так много в ней было собрано разноплановых вещей разных эпох. Старинный резной шкаф красного дерева с книгами и банками с заформалиненными препаратами соседствовал одновременно с дорогими кожаными креслами и дешевым навесным шкафчиком от допотопного кухонного гарнитура. Здоровенная пальма в деревянной кадучке, к которой бы очень подошли семь мраморных слоников из пятидесятых годов, каким-то образом уживалась с прекрасными микроскопами и отличным компьютером на старом письменном столе, заваленном картонными планшетами со стеклами микропрепаратов, толстенными книгами, атласами и медицинскими журналами. В дальнем углу кабинета с потолка свисала красная боксерская груша, и пара боксерских перчаток висела на огромном гвозде, вбитом в стену под портретом Ипполита

Васильевича Давыдовского. Зато на подоконниках красовались разнообразные и самые модные представители флоры из современных супермаркетов.

— Это верно, я занимался диагностикой. — Владик сидел, склонившись над окуляром хорошего цейсовского микроскопа, и пытался отличить в двух препаратах, предложенных ему Ризкиным, ткань миокарда от ткани почки. Он выглядел точно так же, как тогда, когда работал в «Анелии», но здесь, в тиши патолого-анатомического отделения, его внешность гораздо более органично вписывалась в профессию, чем прежде. Никто с первого раза не смог бы определить во Владике принадлежность к эскулапам. Скорее он мог бы напоминать актера или, на худой конец, журналиста — такими свободными были его манеры, такой непринужденной одежда. Да и вся фигура, посадка головы, мягкие волосы, спускающиеся по шее легкими волнами, и, самое главное, совершенно несерьезный взгляд не позволяли пациентам относиться к такому доктору со всей серьезностью и доверием. Да, проблема была еще в том, что и сам Владик тоже не относился к своим бывшим пациентам со всей серьезностью. Он проработал не так уж мало — лет пять после окончания института, а пациенты до сих пор представляли для него некую абстракцию или, лучше, живую иллюстрацию определенного заболевания, описанного в учебниках. И еще Владик терпеть не мог носить медицинские халаты.

— Ну, я так думаю, наверное, вот это все-таки почка, — на-

конец, после довольно длительного созерцания, сказал он, доставая со столика микроскопа один из двух препаратов и протягивая его Михаилу Борисовичу. – То, что я пытаюсь здесь увидеть, все-таки больше напоминает клубочки, чем все остальное. Во втором препарате ничего похожего нет. Посмотрите сами.

– Оставь стекло у себя на планшете, – небрежно махнул в его сторону Ризкин. – Я и без микроскопа на свет вижу, что этот препарат – действительно почка. – Ризкин встал со своего места, подошел к Владику и сел рядом. – А скажи, почему ты так долго сомневался? Ты совсем забыл гистологию?

– Да я ее и не знал никогда, – Владик не видел смысла кривить душой. – Я должен вам сказать сразу, что я не очень хорошо учился в институте. Мне было неинтересно. Я вообще больше хотел заниматься компьютерами.

– А зачем тогда ты в медицинский поступал? – удивился Ризкин.

– Тогда конкурс в медики был небольшой. Денег у моих родителей не было, а в армию я не хотел еще больше, чем в медицину. Вот мой младший брат, так тот просто одержим биологией. А я – нет.

– Он тоже врач? – Ризкин положил свою руку Владику на плечо, слегка навалился. Его рука была горячая, тяжелая, но небольшая. Даже суховатая, тонкокостная. Горячая волна обдала через свитер Владиково плечо. Владик это отметил, но вида не подал.

– Нет, Сашка пока студент. Биофака.

Ризкин руку не убрал, и Владик внутренне напрягся. «Не хватало еще, чтобы этот мой теперешний шеф оказался приставучим гомиком». Михаил Борисович заметил это, усмехнулся. Встал и отошел подальше от Владикова стола.

– Вот тебе еще два стекла. Что это за ткани?

Владик положил стекла под объектив.

– Ну, первое сразу видно – кожа, – быстро определил он. – Ее трудно не узнать – семь слоев эпидермиса. Это я помню. А вот второй препарат... Тоже различимы несколько слоев. Но не пойму, что это... Мне кажется, я вообще такое никогда не учил, – он повертел стекло на столике, – не знаю. Честно признаюсь.

Михаил Борисович опять ухмыльнулся:

– Это, дорогой мой, кора головного мозга. Перефразируя широко известную ранее фразу – «Мозг – всему голова».

– Ага, – сказал Владик и тоже ухмыльнулся: – Я понял вашу иронию. Конечно, всему голова. Особенно в том случае, если у больного острый и распространенный инфаркт миокарда. От которого он, собственно, и помер.

Ризкин внимательно на Владика посмотрел. «Шустрый мальчик. Не глупый. Может быть, с ним будет интересно работать». А вслух сказал:

– Ты частично прав в своих рассуждениях, но лишь частично.

Владик помолчал.

– Почему частично?

– А потому что, чтобы инфаркта не было, человеку и нужен мозг. Чтобы соображал лучше и волновался меньше. А также чтобы умеренно ел, правильно пил и в меру занимался физкультурой.

«Вот ты-то, по-видимому, все это делаешь правильно, поэтому инфаркт тебе не грозит», – подумал Владик.

– Не грозит, – угадал его мысли Ризкин. – У меня в молодости был туберкулез. А у больных туберкулезом инфаркты встречаются редко.

Владик обалдел. Не часто встретишь человека, который спокойно так заявляет о своем туберкулезе. Надо хотя бы надеяться, что туберкулез остался в прошлом.

– Вот у больных сифилисом – гораздо чаще, – между тем свободно продолжал Михаил Борисович.

– Почему? – спросил Владик.

– Мне нравится, что слово «почему» является основным в нашем разговоре, – в который раз уже ухмыльнулся Ризкин. – Чем чаще задает патологоанатом себе и другим этот вопрос, тем лучший он специалист.

– Но все-таки почему?

– А потому что у больных туберкулезом конституция не та. Во всяком случае, я так думаю, – поддразнил он Владика.

– А у тех, кто болеет сифилисом, – та? – уточнил Владик.

– По-видимому, да, хотя это еще не доказано, – подтвердил Ризкин. – Просто мой опыт подтверждает некоторую за-

кономерность в течении этих заболеваний. Кстати, можешь вон ту баночку поглядеть, – Михаил Борисович наугад ткнул пальцем вверх и вбок в сторону шкафа. – Вон там, на третьей полке, как раз стоит прекрасный препарат аорты, и как раз она была взята от больного сифилисом.

Владик встал и вежливо подошел к полке.

– А сам сифилис здесь тоже видно? – спросил он.

– Сифилис – нет, я просто этот случай хорошо знаю. Сам вскрывал десять лет назад. Поэтому и знаю. Но, кстати сказать, аорта у больных сифилисом отличается от аорты, измененной атеросклерозом.

– Больному это, наверное, все равно? – повернулся к Ризкину Дорн.

– Это покойнику уже все равно, – прищурился на Владика Михаил Борисович. – А больному – не все равно. И врачу – не все равно. Особенно хирургу, который эту аневризму, к примеру, оперирует.

– А почему? – опять невольно спросил Владик.

– Ну, как же... – хитренько посмотрел на него Ризкин. – Заразиться ведь можно сифилисом во время операции, если, к примеру, доктор случайно палец себе порежет...

– А, ну да... – пробормотал Владик и почувствовал, что ему очень хочется спросить, а может ли заразиться сифилисом порезавший себе палец патологоанатом. Но он не спросил. Решил, что сам посмотрит в Интернете.

– Ты Интернетом можешь пользоваться, конечно, – вдруг

сказал ему опять к месту Ризкин. – Но имей в виду – настоящий интеллигентный врач имеет пристрастие к книжке.

«Да он дьявол какой-то. Угадывает буквально все!» – подумал Владик и вдруг вспомнил Барашкова, с которым раньше работал, и его любовь все время заглядывать в литературные источники. Но если Аркадий представлялся ему стареющим идиотом, то относительно Ризкина Владик вдруг решил, что ему, кажется, должно понравиться у него работать.

– Ну, что ж, – Михаил Борисович посмотрел на настенные часы-ходики с глумливо улыбающимся котом на циферблате и хлопнул в ладоши: – Пойдем-ка в прозекторскую. Там нас уже наверняка ждут.

– Трупы? – спросил Владик не без внутреннего содрогания. Он вспомнил, что в институте как-то умело избегал занятия в секционной. Не считая нормальной анатомии, конечно. Но нормальную анатомию изучают на первом курсе, разве там препараты? Заформалинены так, что слезы из глаз текут. На настоящие человеческие тела даже не похожи. Так – учебный материал для студентов. А тут... Владик задумался: «Тело человека, который несколько часов тому назад был живым. Может быть, боролся за жизнь. Наверное, не думал, сюда поступая, что здесь умрет...»

– Фу! – поморщился Михаил Борисович. – Нас ждет санитар Павел Владимирович, родственники больного и история болезни. А если родственники захотят, еще и специалист по художественному бальзамированию.

– Кто?

Михаил Борисович сделал неопределенную гримасу.

– Специалист по художественному бальзамированию. Так у нас в прејскуранте записано. Что-то вроде косметолога для умерших. Зовут Вова. – Он передал Владику увесистую папку: – На, держи. Я уже ознакомился, а тебе предстоит изучить.

– После вскрытия?

– Нет. Всегда надо – до. Чтобы знать, что искать в секционном материале. Сегодня сделаем исключение, но только один раз. Переодевайся, и пошли.

Владик посмотрел непонимающе:

– Во что переодеваться?

– В исподнее. Снимай всю свою одежду и напяливай казенную. Тебе уже подобрали по размеру. – Михаил Борисович достал из шкафа два новых хирургических комплекта. Кинул Владику. Тот ловко поймал.

– А почему два? Чтобы в одном не заразиться?

– Ага, – ухмыльнулся Ризкин. – Чтобы не заразиться, руки будешь мыть после секции тщательней. А два комплекта – чтобы не простудиться. В секционной прохладно. Температуру всегда там держим пониже. Чтобы не пахло! – наклонился он к Владику с шутливой и одновременно страшной гримасой.

«Не вырвало бы меня», – подумал Владик, натягивая хирургические штаны. Он шел на секцию в первый раз в жизни.

– Пойдемте, – сказал он Ризкину и незаметно сунул в карман пачку ментоловой жвачки. Михаил Борисович, выходя, галантно пропустил его вперед себя в дверь кабинета. Они долго шли по коридору, и, пока шли, Владика вдруг осенило:

– Послушайте, Михаил Борисович, а вы туберкулезом тоже при вскрытии заразились?

– Что?

– Ну, наверное, вскрывали больного туберкулезом и не знали об этом...

– О чем вы, мой юный друг? – как можно дольше тянул паузу Ризкин.

– Ну, о том, что он болен... Не все же больные знают, чем они больны?

– И не могут рассказать о своей болезни доктору, лежа на секционном столе...

– Нет, ну я серьезно!

– И я серьезно. Если до секции бывали случаи, когда пациент еще мог встать с секционного стола и что-то рассказать, то после секции – уже никогда...

– Ну, не шутите, Михаил Борисович!

– А я не шучу. Вон, в газетах все время печатают случаи: «...пациентка такой-то больницы внезапно очнулась и, к своему ужасу, обнаружила себя в морге. Она встала с секционного стола и пошла к дверям. Все, кто в это время был в секционной, попадали в обморок».

– Ну это-то как раз, я понимаю, газетная утка... А вот

насчет туберкулеза вы так и не ответили.

– Почему это утка? – вытаращился на Владика Михаил Борисович. – Сейчас придем, а наша пациентка... У нас ведь пациентка сегодня?

Владик заглянул в историю болезни, которую держал в руках, и растерянно сказал:

– Да...

– Ну вот, мы к ней подойдем, а она как затрясется, как завоет...

Владик аж передернулся:

– Хватит вам меня пугать Михаил Борисович...

– А насчет туберкулеза, – сказал Ризкин, – действительно, я тогда много вскрывал больных с туберкулезом. Они его из лагерей привозили и с этим туберкулезом еще потом лет двадцать-тридцать жили. И я, конечно, мог бы заразиться от них, но заразился скорее всего от своего приятеля, с которым мы вместе пили, курили и гуляли по девочкам дни и ночи напролет. Но и то, я думаю, не заразился бы, если бы у меня конституция была другая.

– А... у меня, как вы думаете, конституция какая? – опасно спросил Владик.

Михаил Борисович серьезно на него посмотрел:

– Честно тебе скажу – не знаю. А впрочем, есть для тебя разница, чем лучше заразиться – СПИДом, сифилисом, туберкулезом или триппером?

«Триппером вроде бы безопаснее», – подумал Владик.

– Ох, видно действительно ты патанатомию совсем не знаешь, – покачал головой Ризкин. – Придется с тобой серьезно заниматься. – Они очутились перед плотно закрытой дверью с надписью «Секционная № 1». Владик остановился.

– Открывай дверь, пришли, – замогильным голосом сказал Михаил Борисович. Владик постоял секунду и открыл дверь.

Март... Какой это странный месяц для центральной части России! Во всяком случае, его начало. В Москве в начале марта еще зима. Первые три дня проходят в относительном спокойствии. Затем начинается ожидание праздника. Числа с четвертого активизируются продавцы цветов – начинаются поздравления тех, кого надо поздравлять с целью поддержания хороших отношений – учителей музыки, преподавателей иностранных языков и врачей. С пятого по седьмое нарастает возбуждение в магазинах – в невероятных количествах закупаются подарки. Возрастают очереди в продовольственных супермаркетах – продукты для корпоративных вечеринок переполняют магазинные тележки, радостно звенят бутылки, и, несмотря на еще будние пока дни, оживают рестораны. С этого же времени по вечерам в метро можно видеть группы наряженных и слегка пьяненьких дам – это коллеги по работе как раз и возвращаются с таких вечеринок. Шестого числа в Москве появляется мимоза. Эти сложенные зеленовато-голубоватые ветки с цыплячьими шариками, засыхающими через два часа после покупки, конечно, не идут ни в какое сравнение с живым цветущим деревом, представляющим собой солнечное ароматное облако, обоняемое за километр. Но что такое Восьмое марта без мимозы! Розы? Да! Тюльпаны? Конечно! А также гиацинты, фиалки,

герберы... Но без мимозы – это все заурядные приметы любого торжества – банальных дней рождений, презентаций по случаю, благодарностей, премий... И лишь мимоза является бессменным и бесспорным символом исключительно Женского дня. Ее привозят в чемоданах с гор, ее ломают и мнут, чтобы больше влезло, потом достают, встряхивают, придавая товарный вид, и продают – не очень дорого, но так, чтобы и было не стыдно. Короче, мимоза – символ праздника Восьмого марта и русской женщины. Чем ее больше мнешь, тем лучше продается.

Седьмого числа, естественно, – кульминация праздника. Дамы возвращаются домой с цветами, размягченные и обалдевшие – от поздравлений, внимания, вина и еды. Дома – не то. Дома цветы и подарки от близких. От тех, кому женщина не нужна нарядной, остроумной, флиртующей. Дома она нужна понимающей, прощающей, умелой и работоспособной – короче, сиделкой, кухаркой, советчицей, хозяйкой, нянькой... Печальна до сих пор участь русской женщины. Вы спросите, а как же... постель? А вы что, еще и спать собрались с этой лошадью?

У русской женщины не должно быть недостатков. В крайнем случае недостатки прощают на работе. Близкие – беспощадны. Муж рассказывает друзьям, какая его жена стерва. Повзрослевшие дети орут: «Мама, ты – дура! Ты ничего не понимаешь в жизни!» Родители жалуются, что им уделяют мало внимания, в то время как они для детей... а свекровь

вот уже двадцать лет подряд вздыхает вслух, показывая, как ее сыну не повезло со спутницей жизни. И время идет, и все повторяется, повторяется, повторяется... Когда же это кончится, наконец?

Заканчивается, не беспокойтесь. Но, как всегда и везде, любой бунт духа в конечном счете выражается в погромах и убийствах. Кого же громят теперь наши молодые современницы? Мужчин. Как они их только не называют? «Мой козел» – в компании подруг – одно из самых ласковых прозвищ сильной половины мира сего. Но, как поет Ваенга, важно ведь не что сказать, а как... Женщина говорит подругам: «Мой козел...» – а какая гамма чувств, сколько переживаний, тайная гордость обладания, печаль неоправданных надежд, желание отомстить, презрение утомленного честолюбия и даже скрытая страсть могут таиться в этом милом, простом прозвище...

Владимир Азарцев ехал в больницу на работу четвертого марта. И следовательно, жаркое дыхание российского праздника еще не приобрело на улицах масштаба извержения вулкана цветочных и винных испарений. А у самого Азарцева совсем не празднично было на душе. Он ехал в раздолбанной старой «восьмерке», которую купил по содействию Славы, своего теперешнего товарища – бывшего судебно-медицинского эксперта, а ныне почти шекспировского гробокопателя, правда, вооруженного небольшим японским экскаватором.

– Машина неплохая, – сказал как-то в разговоре с Азарцевым Слава. – Сосед продает. Ну, битая, конечно. Вид отвратительный. Но если ты совсем безлошадный, то имеет смысл взять – стоит недорого. За внутренности я отвечаю. Сосед не сам ее побил, сынок постарался – ездить начинал без прав, дурак. Но побита она только снаружи. Соседу ремонт невыгодно делать – весь корпус покорежен. Жестянка, покраска, то да се – выйдет дороже, чем купил. Вот он и продает. Бери. Он не обманет.

Разговор тот происходил на их «базе» – возле гранитной мастерской на территории старого кладбища. Хозяином этой мастерской был одноклассник Азарцева – Николай – подполковник. Подполковник было одновременно его и прозвище, и звание. Но в этот раз Николай при разговоре не присутствовал, мотался по делам. У него, отставного военного, теперь здесь, на кладбище, было большое хозяйство – часть территории, которую он выкупил неизвестно какими правдами и неправдами, сама мастерская и, как они все сами называли это место – «Мемориал». На участке вдоль забора, отгораживающего территорию кладбища от дороги, раскинулись в каре лиственницы и ели, создавая ощущение замкнутости и покоя. А в центре образовавшейся небольшой площади была вымощена гранитными плитами площадка с круглым углублением в центре. От нее к мастерской вела недлинная узкая аллея. А по трем сторонам площадки были установлены памятники. Все одинаковые, шесть штук, в ви-

де черных мраморных плит по две с каждой стороны. Только изображения молодых мужских лиц и подписи под ними были разные. Да и то – дата смерти у всех шестерых стояла одна. И место, где погибли эти парни, было одно – какое-то ущелье и горный хребет с неизвестным Азарцеву названием.

– Тебя обманешь... – Азарцев с уважением посмотрел на Славкины кулаки. Внутренне он уже был готов купить эту «восьмерку». Не хватало немного денег, но он знал, что, работая, расплатится быстро.

– Ну, ручки-то, конечно, заскорузли немного, – ухмыльнулся Славка. – Но все что надо – работают.

Азарцев невольно посмотрел на свои руки: тонкая кисть, гибкие, чувствительные пальцы. Раньше эти пальцы помогали живым, теперь украшают мертвых.

– Слав, я возьму машину.

– Не пожалеешь. Раньше-то у тебя какая была? – Слово «раньше» для людей из этой компании имело особенный смысл.

– Хорошая была. Не шикарная, правда, – Азарцев вспомнил свой удобный блестящий «Фольксваген», – но ездить было приятно.

– А у меня в той жизни был маленький внедорожник, – Слава отвел взгляд в сторону и посмотрел на свой экскаватор, стоящий неподалеку, – «Судзуки». Десять лет назад. Еще до того, как меня посадили. Желтенький такой. С правым рулем. И надпись какая-то яркая по всему борту по-

японски.

– Может, это была японская «Скорая помощь»? – пошутил Азарцев.

– Может быть. – Слава не улыбнулся. – Я его очень сильно любил. Как женщину. Первую машину всегда так любят. Берегут. Лелеют. Ну, а потом, уже после тюрьмы, разные были. Сейчас, сам знаешь, на «мерине» езжу. Хороший «мерин», ничего не скажу. Но ту «дзушку» я больше любил.

Азарцев сказал:

– Мне машина нужна, чтобы на метро не ездить. Я боюсь там убить кого-нибудь. Во время давки. Случайно. На меня в метро нападает какая-то ярость. Я бы сказал, враждебность ко всем людям. Особенно если их скапливается вокруг меня много.

Слава помолчал, покрутил на пальце ключи от только осмотренной «восьмерки».

– Это потому, что ты злишься на людей, косметолог. На всех злишься, без разбору. – Он вдруг взглянул на Азарцева в упор, и тот увидел в его глазах спокойную, холодную уверенность. – А ты не злился на них, особенно на всех. Все ведь подряд не виноваты в твоих горестях. Если кто виноват конкретно, того надо к ответу призвать, а не рычать на весь свет.

Слава протянул Азарцеву ключи:

– На, езд. Деньги отдашь, как зарабатываешь. Я соседу скажу, он подождет с деньгами.

– А я не могу никого к ответу призвать, – сказал Азар-

цев. — У меня сил нет.

— У тебя желания нет, — отозвался Слава. — Было бы желание, и силы бы нашлись.

— Это точно, отроки мои! — добавил неслышно подошедший к ним отец Анатолий — высокого роста поп, с бородой, в рясе и с крестом на груди, как и полагается русским попам. Отец Анатолий тоже был членом их, так сказать, рабочего коллектива. — Было бы желание... — Он вдруг задрал до пояса свою рясу и достал из кармана джинсов, прячущихся под ней, пистолет. Повертел его на пальце, точно так, как минутой назад Слава вертел ключи, заглянул в ствол, зачем-то подул на него и аккуратно вытер белейшим носовым платком, также извлеченным из кармана. Азарцев изумленно посмотрел на тонкий, ясноглазый, иконописный лик отца Анатолия. Нежнейший румянец покрывал его щеки, чистая кожа на месте усов свидетельствовала, что и культовую бороду отец Анатолий носит не так давно. Азарцев месяц примерно работал в этой компании, но с такой неожиданной стороны интеллигентнейший и образованнейший отец Анатолий открылся Азарцеву впервые. Был, кроме этих трех, еще один юный отрок в этой компании — недоучившийся студент-скульптор Гриша. Стук его долота и троянки доносился сейчас из-за закрытой двери мастерской. Вообще-то, Азарцев не успел еще, всего за месяц знакомства, окончательно разобраться в своих новых друзьях.

— Просто жизнь, Володечка, конечно, дарована Богом, —

задумчиво и нараспев, как он всегда говорил, произнес Анатолий. – Но, к сожалению, есть масса негодяев, которые хотят у тебя, аки звери лесные, эту жизнь отобрать.

– А как же, батюшка, притча про правую и левую щеку? – совсем не желая дискутировать, а так, полушутя, спросил Азарцев. Отец Анатолий нисколечки не смутился:

– Все правильно, Володечка, ты щеку-то подставь. И терпи. Терпи, терпи... Но уж коли бить будут совсем без совести, слишком сильно или тебе терпеть наконец надоест, так ты не стесняйся, хрястни разок промеж ушей! Хрястни так, чтобы башка окаянная, вражеская, надвое раскололась. Это не будет тебе препятствовать быть хорошим христианином. Отведи душу. Но потом не зевай, убегай быстро. А то еще хуже побьют.

– Что-то, батюшка, вы христианские заповеди как-то слишком свободно трактуете, – удивился Азарцев. – Как бы вас РПЦ в еретики бы не записала...

– Ах, милый ты мой, сын божий, – вздохнул Анатолий. – Боюсь, что в канцелярии не только Русской православной церкви, но даже и в самой небесной, – Анатолий с уважением задрал в небо указательный палец, – канцелярии даже не подозревают о моем существовании.

– Но как же? А этот приход, сама церковь, ежедневные службы, отпевание, крещение... Это что – обман?

– Ни боже мой! – засмеялся Слава и обнял отца Анатолия за худенькие плечи. – Все делается по-настоящему. Все

честь по чести. И отец Анатолий настоящий тоже здесь раньше, как у нас говорят, работал. – Слава развел перед Азарцевым руки и показал размер приличного арбуза. – Вот такая ряха! Паству свою обманывал беспрестанно. С девками блудил. Деньги жертвователей расходовал исключительно на собственные нужды. Пьянствовал так, что несколько детей чуть не утопил в купели. Пришлось его заменить, не дожидаясь Высшей кары и наведения порядка и справедливости со стороны РПЦ.

– Так вы что, убили его, что ли? – заморгал Азарцев. – И закопали здесь же вот этим экскаватором?

– Господи, косметолог, какой ты у нас фантазер! – улыбнулся Слава, а отец Анатолий перекрестился несколько раз: – Свят, свят, свят!

– Нужно мне лично еще за этого... сидеть, что ли? Выгнали мы его просто.

– Как это – выгнали? – не мог успокоиться Азарцев.

– Очень просто. Сколько же, в конце концов, можно ханпать?

– Во всяком случае, денег тех, что он здесь наворовал, мы с него не взяли, – сказал отец Анатолий.

– Мы его заставили эти деньги на счет детского дома перевести, – добавил Слава. – Но, впрочем, и там тоже что-то не очень видно, чтобы их правильно на детишек тратили. Может, поехать разобраться? Как ты думаешь, Анатолий? – Слава задал свой вопрос попу, но смотрел на Азарцева, и в

глазах его переливались искорки смеха.

– Знаете, ребята! – Азарцев отдал ключи от машины Славе назад. – Идите-ка вы! Меня вот тоже некие любители справедливости взяли и выгнали из моей клиники. И клинику отобрали. Это, по-вашему, правильно?

– А ты что там, в своей клинике, воровал? Больных обманывал? Медсестер брюхатил? – в насмешливой улыбке искривился Слава.

– Никого я не брюхатил, – ответил Азарцев и повернулся, чтобы идти. – Закончим этот разговор. Я с вами работаю, но за всеобщую справедливость бороться не буду. Мне бы с собственной жизнью разобраться. И машину сейчас у тебя не возьму. Заработаю деньги, тогда и дашь ключи.

– Ну ладно, – пожал плечами Слава, – как хочешь. Хозяин подождет.

– Наверное, просто не сможет не подождать? – с иронией спросил Азарцев, но ни сам Владислав, ни Анатолий ему не ответили. Обнявшись и подмигнув друг другу, они пошли в мастерскую.

– Ой, молодой еще... жизни не понимает... А хороший парень-то в принципе, добрый... – качал бородой отец Анатолий. Он был моложе Азарцева лет на семь.

– Если морду всем подставлять будет, то и не поймет никогда, не успеет, – буркнул Слава. На том их разговор тогда закончился. И со времени его прошло недели две.

А вот сейчас Азарцев даже с удовлетворением наблюдал,

как от его разбитого механического чуда в разные стороны шарахаются престижные авто. «Боятся меня, – усмехнулся он. – Как танка. Взять с меня нечего, а их машины потом еще долго придется в страховых сервисах ремонтировать».

Но разговор тот со Славой и Анатолием Азарцев вспоминал частенько. Запал он ему в душу, и каждый раз, вспоминая его, Азарцев возмущался, негодовал, не соглашался и сомневался.

«Он разговаривал со мной, как с мальчиком-недотепой. – Славины слова о том, что Азарцев не хочет бороться, не выходили у него из ума. – И почему он считает, что все люди на свете должны быть борцами? Вот я точно не борец. Меня любили родители, учителя и педагоги. Я никому не завидовал, и надеюсь, что мне тоже сильно не завидовал никто. Я не делал в жизни ничего такого, за что мог бы приобрести серьезных врагов, я был хорошим врачом, и тысячи пациентов, которым я сделал их замечательные груди, животы, глаза, носы, были мне искренне благодарны. Но я от природы, видимо, плохой администратор... Нет, лучше не так – я не плохой администратор от природы. – Владимир чувствовал, что вынужден из-за всех сил оправдывать себя перед собой, и это было ему неприятно. – Я просто не умею быть администратором в условиях, где каждый норовит тебя обмануть, обжечь, облапошить и пустить по миру. Но это не моя проблема, это проблема системы, в которой администрированием могут заниматься только люди хитрые, нечистоплотные,

приспособленные к вранью и обману...» И вдруг из глубины памяти всплыла огромная картина Босха – зимний небольшой голландский городок, – и народ развлекается. Господи, что за упыри там изображены! Нет ни одного человека без следов различных пороков на лице. Весь этот город, не задумываясь, можно сразу отдать под нож пластического хирурга... Внезапно загорелся красный свет, и Азарцев, с размаху тормозя, въехал на полосы пешеходного перехода. «Внешность исправишь, а душу-то куда?» – спросил сам себя он и осторожно сдал назад. Разношерстная толпа пешеходов проходила перед ним. Худые и толстые, высокие и низенькие, сутулые и стройные, с сумками и портфелями, с колясками или с костылями, вприпрыжку и хромая торопились пройти этот небольшой отрезок дороги их жизни, чтобы не оставить никакого следа о себе в памяти Азарцева. «И ни одного красивого лица!» – вслух сказал он. Сзади возмущенно забибикали, он увидел зеленый свет светофора и тронулся. Асфальт был мокрый – подтаявший на обочинах снег испускал грязную холодную влагу на дорогу. И хотя с неба просвечивало неуверенное еще, по-московски и по-зимнему неяркое солнце, машины, набирая скорость, обдавали друга по бокам потоками грязи. И только крыши у них с каплями подтаявшего снега весело искрились под солнцем. «Вот так и мы, живем в грязи по самую макушку. Пока не умрем», – заметил он себе, свернул в проулок, миновал старый стеклянный магазин и въехал в ворота больницы. «Секция, должно быть, уже

закончилась, – он посмотрел на часы. – Пора». С плохо преодолимым отвращением он взял свою сумку с реактивами и инструментами и вышел из машины.

– Я лучше хотел бы помогать в мастерской Грише, – однажды сказал он подполковнику-Николаю. – Помнишь, я один раз попробовал, и у меня получилось. Позволь мне уйти от этого художественного бальзамирования. Я ненавижу эту работу.

– Ты же делал почти то же самое в своей косметологической клинике, – сказал Николай.

– Ты что, шутишь? – и удивился, и возмутился Азарцев.

– Даже хуже, – Николай был невозмутим и в то же время непоколебим. – Ты делал людям живые маски. Изменив свою внешность, они были уже не теми людьми, какими сделал их Господь. По сути, за деньги ты выполнял капризы живых бездельников.

– А сейчас я улучшаю облик мертвых бездельников. Тоже за деньги.

– Не бездельников, – поправил его Николай. – А объектов, которые уже не могут принести никому вред своей улучшенной формой. Они уже не могут никого обмануть, спрятаться за свое новое лицо и продолжать творить свои черные дела... А мы просто за это пользуемся деньгами их родственников. Не отбираем их – зарабатываем.

– Ты сумасшедший? – спросил Азарцев.

– Возможно. – Николай медленно пожевал губами. – Это

возможно. Но я не исключаю, что ты тоже мог бы сойти с ума, если б тебе пришлось хоронить тех парней, чьи памятники стоят у нас на Мемориале. У них не было лиц – черное запекшееся месиво, так они были обезображены. А тот... кто это сделал, ходит где-то здесь. Жрет, пьет, трахает баб. Отлично себя чувствует.

– Откуда ты знаешь, что отлично? Ты что, видел его?

– Если б увидел, он бы уже не жил, – сказал Николай и сплюнул. – Я бы еще понял, если бы он захватил их в бою. Но он продал их, как скот. И взял за них деньги. Он поступил как Иуда и должен быть наказан.

– Где ж ты его найдешь? – спросил Азарцев, уже не радуясь, что начал разговор.

– Найдешь... – закурил Николай. – Найти-то б нашел. Да как его узнать? Он ведь тоже хитрец. Много вас, несчастных пластиков, сейчас развелось. Может, здесь оперировал его кто, а может, и за границей. Бабок-то ему за этих ребят отвалили немерено. Никто пока не может его найти. Но я найду, все равно найду. У него примета одна есть. Шрам от ножа. Его не сведешь. Глубокий шрам.

– Ты что? – удивился Азарцев. – Глубокий шрам можно иссечь, кожа заживет первичным натяжением, и потом это можно отшлифовать. Никакого шрама не останется. Я сам так делал.

– Кому? – вдруг побледнев, спросил Николай.

– Да я не помню уже кому, – пожал плечами Азарцев. –

Операция-то рядовая. И была она не одна.

Николай опять сплюнул, подрыл плевком комочком земли, присыпал носком ботинка. – Ну, ладно. Пока. У тебя сегодня два клиента. Оплата как всегда. Тридцать процентов тебе, остальное в общак.

– Слушай, Коля! – Азарцев взял его за руку, не позволяя уйти. – Меня ваши дела стали немного пугать. Но я не уйду от тебя, ты не бойся. Ты много для меня сделал. Только ты имей в виду, что я могу принести тебе большую пользу, как скульптор. У меня получится, ты мне поверь. Мне надо технику только получше освоить. Я тебе такие памятники буду делать – к тебе деньги народ мешками тащить начнет. Ты меня послушай... этот мальчик твой, Гриша, он послушный мальчик, хороший, ничего не скажу, только у него таланта нет. Лица у него выходят все одинаковые, под одну гребенку, да еще почему-то с выпученными глазами. Ему надо какую-то другую работу дать. А я на его место встану. Вместо украшения покойников. С покойниками не хочу работать. Не мое это.

Николай помолчал.

– Гришу не трогай. Я не позволю. Другой более-менее сносной работы для него нет.

– Но он никогда не принесет тебе тех денег, которые мог бы принести я.

– И пусть, – сказал Николай. – Насчет тебя пока тоже все останется как раньше.

– Но почему? – не выдержав, крикнул Азарцев.

– А потому, что Гриша – сын одного из тех, из мемориала.

– Ладно, – сказал Азарцев. И повернулся, чтобы уйти.

– Послушай, – услышал он голос Николая вдогонку. – Ты для чего живешь?

Азарцев остановился:

– Для дочери. У меня, кроме Оли, никого больше нет.

– А она у тебя с кем живет?

– С матерью своей. Моей бывшей женой.

– Ну и вот. А у Гриши никакой матери нет. И у меня, кроме него, тоже никого нет.

– Да я понял, понял.

Николай ушел, и Азарцев решил пока больше не приставать к нему насчет другой работы. День за днем шлифовал он свою технику бальзамировщика, хотя никакого удовлетворения от этого не получал. Только деньги. И почему-то вот именно сейчас, в тот момент, когда он входил в двери больничного приемного отделения, Азарцев вспомнил этот состоявшийся с Николаем разговор и внезапно вспомнил пациента, которому иссекал глубокий шрам от ножевого ранения. А потом действительно делал шлифовку нового, образовавшегося рубца, вместе с целой кучей разных других операций на лице и черепе. Потому что этому человеку пришлось нелегко. Его сначала зарезали, а потом облили бензином и подожгли. Но человек этот остался жив. Азарцеву отчетливо вспомнилось обезображенное ожогами лицо, ко-

торое постепенно, через несколько операций, он превратил во вполне пристойную и даже загадочную восточную маску. Это было лицо его теперешнего врага. Того самого человека, который сначала дал, а потом отобрал у него косметологическую клинику и родительский дом. Это было лицо Магомета, Лысой Головы. А шрам у него тогда был на шее. Глубокий, горизонтальный след от ножа, которым перерезали ему горло.

«Я не спросил у Николая, на каком месте у того человека, Иуды, был шрам, — он задумался. — Но разве для меня сейчас это важно? Кто бы он ни был, этот человек, я не гожусь для мести. Этим пусть занимаются суды, прокуратура, в конце концов, такие люди, как Николай. Нет, я никого из них не презираю. Но я не хочу заниматься этим. Не это мое дело». И тут же предательски в голову вползла мысль: «А собственно, чем ты хочешь заниматься?» Азарцев неосознанно пожал плечами: «Разве это секрет? Я никогда этого ни от кого не скрывал. Я хочу, чтобы у меня снова была моя собственная клиника, которую я сам построил, правда, используя деньги Магомета, и в которой я успешно работал. Я был тогда счастлив, несмотря ни на что, и другого счастья не хочу». Он немного подумал. «И еще я хочу, чтобы со мной, как раньше, жила Оля».

«Но дочь никогда не жила только с тобой. Она жила с тобой и с матерью, твоей женой, Юлией». Азарцев ответил: «Нет, никакой жены я категорически не хочу. Ни Юлии, ни-

какой другой». А голос внутри издевательским тоном продолжал задавать вопросы:

«А как же та девушка, красивая, как ангел, разве ты не хочешь ее больше видеть?»

«Зачем мне ее видеть, если она ушла? Может быть, испугалась, что попадет в грязную историю, а может, пережила интересное приключение и решила вовремя завязать. Она ведь мне ничего никогда не обещала. Я даже не хочу думать о том, как ее зовут...»

«...А как же Тина? О ней ты тоже не хочешь вспоминать? Она ведь многое сделала для тебя. А ты всегда кичился своей порядочностью, бесконфликтностью, тем, что никому не хочешь причинять зло... А ей ведь причинил зло. И немалое. И был несправедлив к ней».

Азарцев вздохнул. Потом сказал себе твердо: «Нет, Тину я тоже не хочу видеть».

Внутренний голос громко захохотал: «Ты ведешь себя, как маленький мальчик, который ужасно набедокурил и теперь боится огорчить маму своими шалостями. И, кроме того, не исключает возможность наказания – вдруг мама отвернется от него или закричит, заплачет? Кто же тогда его пожалеет?»

– Да не нужно мне от вас никакой жалости! – вдруг громко вслух сказал Азарцев, и какая-то молоденькая санитарка шарахнулась от него к противоположной стене коридора. – Я хочу, чтобы ты замолчал! – приказал он своему внутреннему

голосу и открыл дверь в прозекторскую. Санитар Павел Владимирович, который мыл там полы, решил, что Азарцев разговаривает с кем-то по телефону и посмотрел на него с удивлением. Редко когда он слышал от косметолога Вовы сразу больше трех слов.

Какие странные математические кривые на пути человека от жизни к смерти выписывает случайность... «Если бы я не встретил эту женщину, жизнь моя потекла бы совсем по другому руслу». Или: «Если бы я не вышла бы замуж за этого негодяя или, к примеру, за этого прекрасного, добропорядочного человека – я бы сейчас прозябала в своей дыре, где он меня встретил, или, наоборот, могла бы быть кинозвездой, бизнес-леди, премьер-министром». Сколько таких «если» встречается на жизненном пути человека? Бесконечное множество. И секрет успешной жизни, мне кажется, не в бессмысленном сетовании на эти бесконечные случайности, а в умении, что бы ни случилось, держать свою прямую – выбранную однажды и поддающуюся коррекции только минимально – в ту или другую сторону. И то – исключительно по своему желанию, но никак не под давлением обстоятельств.

...Оля Азарцева, или, как ее раньше в детстве называли родители, Нюся, в это же самое время чуть только не засыпала, сидя на жестком стуле в длинной и унылой лекционной институтской аудитории.

В окно, еще грязное после зимы, просвечивало неяркое солнце, по пыльному подоконнику ползла первая, ранняя, еще обалдевшая со сна муха. Преподаватель был лыс, очкаст и совершенно неинтересен Оле, как, впрочем, и его предмет,

и весь институт в целом. Но она никогда не задумывалась, что, собственно, она делает в таком абсолютно неинтересном для нее и никчемном месте. Оля была девочка послушная, исполнительная. Мама сказала, что надо учиться, а папа заплатил деньги. Поэтому Оля училась. Одна мысль о том, что нужно было бы объясняться с мамой или с отцом, который уже два года с ними не жил, по поводу чего бы то ни было, доказывать что-то, приводила Олю в ужас. У нее была только одна мечта – жить так, чтобы ее не трогали. Не разговаривали бы с ней, не давали советов. Оля была готова на маленькие жертвы ради этого, а еще ради того, чтобы ей давали денег на жизнь столько, сколько ей было нужно. Какая разница, где учиться, если ей все равно было все безразлично. Этот институт или тот, эта работа или другая, Оля не чувствовала призвания ни к чему. Так зачем бузить, если не видишь в том никакого смысла?

– Сначала окончи институт, – говорили ей мама и папа одними и теми же словами, но порознь, – а потом посмотрим. Подберем что-нибудь, где тебе будет удобнее, где больше понравится. – Оля так и жила. Пока выполняла программу-минимум. Как автомат ходила на лекции, старалась бороться со сном, читала учебники, писала конспекты.

– Счастливая, о чем тебе беспокоиться! – завидовала Оле подружка Лариса. – Мама с папой все за тебя сделают. Не то что я, голову не к кому преклонить. Самой приходится всего добиваться. – И правда, подружка успевала столько, что

Оля только поражалась: и учиться на дневном, и работать, и головы мальчикам крутить, и по музеям бегать, и в бассейне плавать, и по тусовкам шататься.

– Ты хоть спишь когда-нибудь? – спрашивала Оля Ларису.

– А как же, на лекциях! – отвечала та. И действительно, подперев голову кулачком, устроившись где-нибудь в заднем ряду, сладко засыпала. Впрочем, это не мешало подруге хоть на тройки, да сдавать сессию. Оля, которая каждый день аккуратно ночевала дома, училась не лучше.

– Как ты думаешь, в кого это дочка такая уродилась? – еще до развода спрашивала у Азарцева его бывшая жена Юлия со скрытым намеком.

– Тебе больше бы нравилось, если бы она с тринадцати лет проводила время в сомнительных компаниях? – отвечал Азарцев, обижаясь за дочь.

– Во всяком случае, я так и делала. И никогда потом об этом не жалела! Сомнительные компании – самые интересные, – с вызовом отвечала Юлия. Оле было неудобно за отца – почему его мама все время ругает, но в то же время ее пугал и материнский темперамент. У Юлии был пунктик. Она обожала украшать свою внешность. В погоне за тем, что казалось ей красивым, она готова была на самые рискованные шаги – вплоть до сложных косметических операций. Оперировал-то ее Азарцев, и каждый раз после очередной операции Юлия становилась все интереснее, все необычнее. Дошло до того, что внешность ее стала казаться искусственной

— ведь не наблюдается в природе человеческих глаз размером с кофейные блюдца, осиная талия вместе с бюстом пятого размера и узкие колени под роскошно широкими бедрами. Самого Азарцева Юлина внешность пугала. Оля тоже уже узнавала мать скорее по запаху. Юлино лицо в результате операций стало так далеко от первоначального, что Оля не могла даже вспомнить, какой была мама в ее детстве. Но сама Юлия была в восторге от своей красоты и не собиралась останавливаться на достигнутом. И каждый раз, когда мать возвращалась домой после очередного, пусть небольшого косметического вмешательства, Оля с чувством странного любопытства, смешанного с брезгливостью, разглядывала с гордостью демонстрируемые матерью измененные участки тела — часто еще с кровоподтеками и свежими послеоперационными рубцами. А потом, не говоря никому ни слова, запиралась в ванной, потому что каждый раз ее от этого зрелища выворачивало наизнанку.

«Папа кроит и перекраивает живое тело. Мама подставляет свое. А я способна только на то, чтобы исторгать это зрелище из себя», — думала про все это Оля и от этого сама себе не нравилась еще больше. В зеркало она на себя старалась не смотреть. Она была похожа на отца — ничего выдающегося. Но те тонкие, ровные черты, которые придавали лицу отца выражение трогательной незащищенности, Олино лицо почему-то делали совершенно плоским. Длинная коса, заплетенная просто, без всяких ухищрений, от затылка, то-

же Олю не украшала. Но о том, чтобы пойти в хороший салон к парикмахеру, нечего было и думать. Оля не переносила этих представителей рода человеческого после того, как однажды, лет в двенадцать, мать привела ее к своему парикмахеру подстричь волосы.

– Ой, господи ж, боже мой! – завывала, глядя на Олю, накрашенная, будто клоун, хохлушка. – И какого же гадкого утенка вы ко мне привели!

– Что выросло, то и выросло, – философски заметила в ответ на эти слова Юлия и поцеловала дочь в макушку. Оля на слова парикмахерши вслух никак не отреагировала, но знание того, что она некрасива, накрепко отложилось в ее памяти. Но скорее от гордости, в отличие от других девочек, Оля никогда не старалась приукрасить внешность.

Но слова матери она запомнила. Может быть, это и сформировало ее отношение к мальчикам. «Если приходится выдерживать столько унижений, чтобы кому-то показаться красивой, – думала Оля, – лучше близко никогда не подходить ни к одному лицу противоположного пола».

– Зачем унижаться из-за мужчин? – удивлялась Юлия. – Я хочу быть красивой для себя.

Но поскольку после каждой операции у матери появлялся очередной, хоть и кратковременный, любовник, а после развода тем более, Оля не склонна была в этом матери верить.

На молодых людей в своем институте она не обращала внимания. Они казались ей глупыми, неаккуратными. Маль-

чки платили ей тем же. Если бы любого из них, знакомого с ней не первый год, попросили бы описать ее внешность, рассказать, какого цвета у Оли глаза, волосы, ни один из них не смог бы ответить что-либо внятное.

– Да мы ее мало знаем! – вот и все, что ответил бы каждый. А Оле гораздо спокойнее было просто есть, спать, ходить на занятия, плыть по течению жизни, не испытывая ни мелких передраг, ни сильных штормов. Если бы еще мать не доставала ее своими нотациями!

Преподаватель вдруг отвернулся от доски, сделал небольшую паузу, заглянул в свои записи, сверяясь с ними.

– Оля! – толкнула ее под локоть Лариса. – Пойдем сегодня вечером со мной в компанию к одному знакомому. Приглашал домой к какому-то своему другу – то ли медику, то ли биологу. Но мне не хочется одной идти. Пойдешь?

Оля прикинула. Мать сказала, что должна вернуться пораньше. Значит, была вероятность того, что придется идти с ней в магазин за продуктами или выбирать какую-нибудь новую кофточку. Кофточки был еще один материн пунктик. Она не могла ходить в одном и том же наряде больше двух дней. Кофточками у нее был завален весь шкаф. Каждый раз во время похода по магазинам мать пыталась навязать и Оле какую-нибудь обновку, но Оля, с удовольствием ходившая и летом и зимой в одном и том же черном джемпере и джинсах, на уговоры не поддавалась. Джинсы, правда, ей приходилось менять чаще, чем джемпер, – они быстрее стирались между

ногами. К остальной одежде, как, впрочем, и к еде, Оля была вполне равнодушна. Больше всего она любила картофельное пюре и могла его есть по три раза в день. Поэтому ходить по магазинам Оля терпеть не могла.

– А это далеко? – спросила она подругу.

– Какая разница? Нас довезут. Встретят около института. Пойдешь?

– Угу.

– Ну, замечано! – обрадовалась подруга, и больше в этот день до конца занятий они к этому вопросу не возвращались.

Хоть и приятны, а все еще коротки в Москве первые весенние денечки. До равноденствия остается еще почти три недели, но все равно – день уже заметно прибавляется. И хотя в половине шестого уже опять опускаются на город еще по-зимнему холодные сумерки, темнота на улице кажется все-таки более прозрачной, вечера уже не так противны, а ночи не настолько суровы, как в январе.

Ашот из аэропорта сразу поехал к своей квартирной хозяйке на Сухаревку. Вытерпев трогательные объятия жаркой дамы, он вывалил из сумки подарки, заплатил за комнату на месяц вперед, забрал ключи, остался наконец один и подошел к окну. Он совсем забыл уже вид из этого окна, который до отъезда видел бессчетное число раз. А теперь, как впервые, снова предстал перед его взором пустой, незамысловатый московский двор с мокрым асфальтом на тротуаре и грязноватым снегом в собачьих пометинах на детской площадке. Он смотрел на этот асфальт и этот снег и ничего не понимал. «Зачем я приехал?» Но мысль о том, что в любой момент он может снова сесть на самолет, не дожидаясь окончания месяца, и билет без даты лежит у него в кармане, его успокоила. «Я приехал в отпуск», – сказал он себе и решил поспать часика два. «Все равно Аркадий на работе. Посплю и съезжу к нему в больницу. В нашу больницу», – поправил

он себя и улегся на диван. Вдруг с непонятной радостью он ощутил под боком те же самые неровности – забытые ямы и выпуклости старого дивана. «Мозг-то забыл, а бока-то все помнят!» – вдруг засмеялся он и мгновенно уснул. Проснувшись он, как по будильнику, через два часа свежий, бодрый и полный сил.

– Эге-гей-го! – негромко закричал он в старом коридоре, направляясь в ванную комнату. Толстые стены старинной квартиры, украшенные теми же самыми обоями, что украшали эти стены, еще когда он жил в этой квартире постоянно, казалось, ответили ему радостным недоуменным эхом. И никто, кроме стен, не ответил ему. Хозяйка куда-то ушла, двери остальных комнат были закрыты.

Он принял душ, побрился и, уже испытывая нетерпение, достал записную книжку и стал накручивать диск допотопного черного телефона. Ашот даже не думал, что где-то еще остались такие раритеты. Но телефон работал, и он позвонил по старым номерам Барашкову и Тине, но никто, как назло, ему не ответил.

– Куда они все пропали? – Ашот испытал разочарование и снова вернулся в свою комнату, подошел к окну. Была уже середина дня, и московский двор оживился. Из школы возвращались дети – компания из трех ребят возбужденно жестикулировала, рассматривая какой-то журнал. К помойке подъехала машина, вывозящая мусор, и шофер стал менять мусорные контейнеры, а два узбека подгребали свалив-

шийся мусор лопатами. Стоя голубей, согнанная машиной, оживленно гуляла в стороне, ожидая новой порции пищевых отходов, а за ними с форточки дома напротив совершенно индифферентно наблюдали два одинаково полосатых кота. Юная девушка в маленькой машинке с двумя треугольниками «У» и двумя восклицательными знаками на заднем стекле безуспешно пыталась припарковаться к обочине между двумя внушительными внедорожниками. И весь этот обычный пейзаж рядового московского старого двора как бы сквозь дымку подсвечивало неяркое еще солнце. Ашот опять вспомнил зеленую лужайку Сусанниного дома, ее детей, уже с месяц возвращающихся из школы раздевшись, и ощутил потребность немедленно выйти из дома и вдохнуть московский воздух. Неважно – худший или лучший по сравнению с тем, что он оставил шестнадцать часов назад, но совершенно другой. Он быстро надел свою короткую курточку, замотал по самые уши шею старым красно-зеленым клетчатым шарфом, оставив снаружи только то, что находилось выше носа и курчавых бакенбард. И взглянув на себя в зеркало, в который раз убедился, что этот пестрый шарф вкупе с его кудрявыми волосами и от природы вытянутым носом здесь, в Москве, опять придал ему сходство с Александром Сергеевичем Пушкиным. А в Америке, может быть, потому, что никто там о Пушкине особенно не думает и не знает, сходство это как-то само собой нивелировалось.

Он вышел из дома без цели. Но почему-то ноги сами по-

несли его к Садовому кольцу и по нему дальше вниз, к Цветному бульвару и Садово-Самотечной площади. Он и не заметил как, но сам собой оказался возле давно знакомого магазина – за бывшим кинотеатром «Форум» сто лет существовал в подвальчике колбасный магазин – грязноватый при Советской власти, абсолютно пустой при Горбачеве, слегка оживший вначале ельцинского правления и ломящийся от продуктов сейчас, несмотря на катастрофически высокие цены. Только подойдя к его дверям и убедившись, что магазин за два года никуда не пропал, Ашот понял, что направление его ногам придал голод. В магазине было совсем немного народу. Уже стоял тот хороший предсумеречный час, когда рабочий день еще не закончился и людей на улице немного, но сейчас вот-вот толпы вырвутся из офисов и учреждений и выплеснутся в магазины, в потоки машин, в ручейки улиц. Люди будут спешить по своим домам, к детям, семейному ужину перед телевизором – рюмке водки, жареному мясу с картошкой, горячему чаю, так хорошо согревающим в такую погоду. И только влюбленные будут тянуться не по домам, а друг к другу, наоборот, в противоположном направлении от семей, спокойного уюта и жареной картошки. Ашот вошел в колбасный подвал. Поскольку он не был влюблен, а был приглашен в гости, он решил отдать предпочтение кулинарии. Рубенсовской красоты окорока, горы сосисок, ошеломляющее разнообразие колбас вызвали в нем некоторое сожаление: «Вот бы Сусанна где могла развернуться», но очередь

подошла очень быстро.

– Чего желаете? – спросила его дородная продавщица, и в голосе ее не было особой любезности, но и стандартной, заученной по обязанности вежливости тоже не было. Ашот в который уже раз восхитился тем, что все время и везде он опять слышит русскую речь, и с лингвистическим даже наслаждением перечислил все, что желал. Он собирался в гости, поэтому закусок должно было быть вдоволь. А где уж эта встреча произойдет – дома или в больнице – неважно. Лишь бы стол был правильно накрыт. Продавщица упаковала покупки и отправила Ашота платить в кассу. Он удивился тому, что в этом магазине кассовый аппарат стоял еще по старинке – отдельно от прилавка в будке с кассиршей. Но это обстоятельство, вероятно, совершенно не удивляло толстого кота, который лежал как раз возле кассы, рядом с сердобольно положенной кем-то половинкой сардельки, и даже не делал попыток ее съесть. Ашот аккуратно обошел кота и заплатил. Уже вернувшись к прилавку, он вспомнил, что забыл кое-что еще.

– Порежьте, пожалуйста, еще двести граммов докторской колбасы, – попросил он. Продавщица равнодушно кинула на прилавок перед весами новый батон, точным движением махнула его посередине и нашинковала точнехонько на глаз. Ровно двести граммов плотной, одурманивающе аппетитной докторской колбасы перешли Ашоту в руки.

Булочная, как помнил Ашот, была неподалеку на углу. Он

вышел из колбасной и направился туда, а потом посмотрел на часы. «Поеду-ка я к Аркадию в больницу. Как раз – конец рабочего дня. Там его и перехвачу».

Загвоздка была в том, что у Ашота не было мобильного телефона. В Америке он ему был не нужен. Там он звонил по старинке – из телефонов-автоматов, что стоило гораздо дешевле мобильной связи. А старый мобильный телефон, которым он пользовался, еще живя в Москве, давно сломался. Ашот просто не мог себе представить, до чего индивидуально телефонизировано теперь наше общество. Он озираясь по сторонам в поисках телефонов-автоматов, но их нигде не было. Зато буквально каждый прохожий шел по улице, поднеся «трубку» к уху. Отдельные же граждане разговаривали по гарнитуре – что вообще производило на Ашота впечатление полного и бесповоротного сумасшедшего дома.

«Хорошо хоть, что троллейбусы по-прежнему ходят», – подумал Ашот и пошел к остановке. Скоро подкатил хорошо знакомый Ашоту «Б». Он по привычке ринулся к задней двери, но быстро понял свою оплошность и вернулся вперед. Удачно преодолев возню с покупкой талончика и проход через автомат, он не без удовольствия уселся на высокое сиденье в первом ряду. Троллейбус тронулся, поплыл и скоро застрял в еле движущемся потоке машин. Ашот не отрываясь смотрел в окно – он даже рад был этой черепашьей скорости. Знакомые места за окном проплывали мимо. И у Ашота вдруг появилось чувство, что он и не уезжал никуда, просто в

каком-то длинном сне перенесся на некоторое время в гости к семье, а потом вернулся, проснувшись. Но все-таки раньше, когда он здесь жил, ему было некогда вот так, не торопясь, раскатывать туда-сюда. Он был постоянно кому-то нужен. А сейчас его никто, по большому счету, не искал, и, наверное, никому особенно и не был нужен его приезд. В груди у Ашота защемило. Как же так? Разве это справедливо, что вот он едет по такому знакомому, почти родному городу – и никому не нужен? Ашоту вдруг стало ужасно жалко себя. Почему он нигде не может найти себе места?

Он ехал по Садовому кольцу и ощущал себя, как в детстве – пятилетним маленьким гордецом. Будто его в очередной раз обидела противная соседская девчонка, всегда тайком пробиравшаяся к ним во двор специально, чтобы дразнить его, а он не смел на нее пожаловаться, потому что мужчины, по его понятиям, не должны были жаловаться никогда. Она проникала в их двор через тайную дыру под забором, в которую обычно лазали собаки, не боясь ради этого даже испачкать свое единственное нарядное платье. А он не хотел никому говорить, что она дразнит его, и не мог завалить дыру, потому что не знал, каким же тогда путем будут возвращаться домой собаки. Почему-то он думал, что они тогда убегут куда-нибудь далеко в горы и умрут там с голоду.

А троллейбус все полз – чаще стоял, чем ехал. Одиночество рвалось из Ашота наружу – ему стало невозможно быть одному, так он хотел увидеть хоть чье-нибудь знакомое лицо.

За стеклом уже стемнело, и стали плохо видны дома, улицы, прохожие.

«Ну что ты расстроился как дурак! – говорил сам себе Ашот. – Что ты хотел, чтобы тебя вышли встречать на площадь с оркестром? Как это глупо! Приехал ты в отпуск, поживи, погуляй здесь, пока деньги не кончатся, съезди в Петербург, а потом и назад, в Америку. Чего переживать? Обратный билет у тебя есть, виза есть, распустил тоже нюни!» – И как только он успокоился, заманчивый запах колбасы из пакета напомнил ему, что он последний раз ел в самолете ночью. Троллейбус практически опустел. И тогда, не обращая уже внимания на сидящих в конце салона пассажиров, он достал из пакета плюшку, которую его мама когда-то называла «Венской», а теперь продавали под видом «Московской», разломил ее, положил сверху нарезанные продавщицей два куска колбасы и с наслаждением стал есть. И съел всю плюшку и всю «Докторскую». И как это часто бывает, после еды ему полегчало.

«Кока-колой бы теперь запить, и был бы полный порядок», – подумал он.

Троллейбус в этот момент все-таки подъехал к нужной остановке. Ашот выскочил из него и быстрым шагом пошел на переход, потом ноги понесли его сами в знакомый до мелочей переулок, потом еще через другую улицу вперед, пока он не очутился на задах больничного забора.

Удачная прическа красит женщину лучше, чем самое модное платье. Хорошо причесать Валентину Николаевну умелому парикмахеру не составляло особого труда. Тинины светлые волосы до плеч легко можно было уложить – заколоть на затылке в пучок или свернуть на макушке в «бабетту». И все виды стрижек, причесок, челок одинаково шли к ее лицу.

Парикмахерша показала Тине, как выглядит прическа сзади, поднеся к ее затылку круглое зеркало, и приготовилась к заключительному салюту: после одобрения клиентки новая прическа победно обрызгивалась лаком. Тина поверхностно взглянула в зеркало и подставила голову, закрыв глаза. Мастер уже занесла над ней баллон, и вдруг рука ее остановилась.

– А где же ваши веснушки? – Парикмахеры в большинстве своем очень внимательные люди. Тина была старой клиенткой этого мастера, и та прекрасно помнила, что у Тины всегда на лице, и особенно на носу, были веснушки. Она даже вспомнила, что и краску-то для волос она иногда подбирала Тине с золотистым оттенком, чтобы придать коричневым веснушкам пикантный вид на фоне более светлых волос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.